АРКАДИЙ ГАЙДАР

Дальние страны



Дальние страны
Аркадий Петрович Гайдар

Аннотация
Аркадий Гайдар. Дальние страны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Аннотация

В книгу включены повести «На графских развалинах», «Дальние страны», «Военная тайна», «Комендант снежной крепости», рассказы «Р. В. С», «Четвёртый блиндаж», «Чук и Гек». В этих замечательных произведениях отображены становление и мужание характеров юных патриотов Родины, романтика их смелых поступков и будничных дел.



Аркадий Гайдар
Дальние страны

1



Зимою очень скучно. Разъезд маленький. Кругом лес. Заметёт зимою, завалит снегом — и высунуться некуда.

Одно только развлечение — с горы кататься. Но опять, не весь же день с горы кататься. Ну прокатился раз, ну прокатился другой, ну двадцать раз прокатился, а потом всё-таки надоест, да и устанешь. Кабы они, санки, и на гору сами вкаты-

вались. А то с горы катятся, а на гору — никак.

Ребят на разъезде мало: у сторожа на переезде — Васька, у машиниста — Петька, у телеграфиста — Серёжка. Остальные ребята — вовсе мелкота: одному три года, другому четыре. Какие же это товарищи?

Петька да Васька дружили. А Серёжка вредный был. Драться любил.

Позовёт он Петьку:

— Иди сюда, Петька. Я тебе американский фокус покажу.

А Петька не идёт. Опасается:

— Ты в прошлый раз тоже говорил — фокус. А сам по шее два раза стукнул.

— Ну, так то простой фокус, а это американский, без стуканья. Иди скорей, смотри, как оно у меня прыгает.

Видит Петька, действительно что-то в руке у Серёжки прыгает. Как не подойти!

А Серёжка — мастер. Накрутит на палочку нитку, резинку. Вот у него и скачет на ладони какая-то штуковина, не то свинья, не то рыба.

— Хороший фокус?

— Хороший.

— Сейчас ещё лучше покажу. Повернись спиной. Только повернётся Петька, а Серёжка его

сзади как дёрнет коленом, так Петька сразу головой в сугроб. Вот тебе и американский…

Попадало и Ваське тоже. Однако когда Васька и Петька играли вдвоём, то Серёжка их не трогал. Ого! Тронь только! Вдвоём-то они и сами храбрые.

Заболело однажды у Васьки горло, и не позволили ему на улицу выходить.

Мать к соседке ушла, отец — на переезд, встречать скорый поезд. Тихо дома.

Сидит Васька и думает: что бы это такое интересное сделать? Или фокус какой-нибудь? Или тоже какую-нибудь штуковину? Походил, походил из угла в угол — нет ничего интересного.

Подставил стул к шкапу. Открыл дверцу. Заглянул на верхнюю полку, где стояла завязанная банка с мёдом, и потыкал её пальцем.

Конечно, хорошо бы развязать банку да зачерпнуть мёду столовой ложкой…

Однако он вздохнул и слез, потому что уже заранее знал, что такой фокус матери не понравится. Сел он к окну и стал поджидать, когда промчится скорый поезд. Жаль только, что никогда не успеешь рассмотреть, что там, внутри скорого, делается.

Заревет, разбрасывая искры. Прогрохочет так,

что вздрогнут стены и задребезжит посуда на полках. Сверкнёт яркими огнями. Как тени, промелькнут в окнах чьи-то лица, цветы на белых столиках большого вагон-ресторана. Блеснут золотом тяжёлые жёлтые ручки, разноцветные стекла. Пронесётся белый колпак повара. Вот тебе и нет уже ничего. Только чуть виден сигнальный фонарь позади последнего вагона.

И никогда, ни разу не останавливался скорый на их маленьком разъезде. Всегда торопится, мчится в какую-то очень далёкую страну — Сибирь.

И в Сибирь мчится и из Сибири мчится. Очень, очень неспокойная жизнь у этого скорого поезда.

Сидит Васька у окна и вдруг видит, что идёт по дороге Петька, как-то по-необыкновенному важно, а под мышкой какой-то свёрток тащит. Ну, настоящий техник или дорожный мастер с портфелем.

Очень удивился Васька. Хотел в форточку закричать: «Куда это ты, Петька, идёшь? И что там у тебя в бумаге завёрнуто?»

Но только он открыл форточку, как пришла мать и заругалась, зачем он с больным горлом на морозный воздух лезет.

Тут с рёвом и грохотом промчался скорый. Потом сели обедать, и забыл Васька про странное Петькино хождение.

Однако на другой день видит он, что опять, как вчера, идёт Петька по дороге и несёт что-то завёрнутое в газету. А лицо такое важное, ну прямо как дежурный на большой станции.

Забарабанил Васька кулаком по раме, да мать прикрикнула.

Так и прошёл Петька мимо, своей дорогой.

Любопытно стало Ваське: что это с Петькой сделалось? То, бывало, он целыми днями или собак гоняет, или над маленькими командует, или от Серёжки улепётывает, а тут идёт важный, и лицо что-то уж очень гордое.

Вот Васька откашлялся потихоньку и говорит спокойным голосом:

— А у меня, мама, горло перестало болеть.

— Ну и хорошо, что перестало.

— Совсем перестало. Ну даже нисколько не болит. Скоро и мне гулять можно будет.

— Скоро можно, а сегодня сиди, — ответила мать, — ты ведь ещё утром похрипывал.

— Так то утром, а сейчас уже вечер, — возразил Васька, придумывая, как бы попасть на улицу.

Он походил молча, выпил воды и тихонько

запел песню. Он запел ту, которую слыхал летом от приезжих комсомольцев, о том, как под частыми разрывами гремучих гранат очень геройски сражался отряд коммунаров. Собственно, петь ему не хотелось, и пел он с тайной мыслью, что мать, услышав его пение, поверит в то, что горло у него уже не болит, и отпустит на улицу.

Но так как занятая на кухне мать не обращала на него внимания, то он запел погромче о том, как коммунары попали в плен к злобному генералу и какие он готовил им мученья.

Когда и это не помогло, он во весь голос запел о том, как коммунары, не испугавшись обещанных мучений, начали копать глубокую могилу.

Пел он не то чтобы очень хорошо, но зато очень громко, и так как мать молчала, то Васька решил, что ей понравилось пение и, вероятно, она сейчас же отпустит его на улицу.

Но едва только он подошёл к самому торжественному моменту, когда окончившие свою работу коммунары дружно принялись обличать проклятого генерала, как мать перестала громыхать посудой и просунула в дверь рассерженное и удивлённое лицо.

— И что ты, идол, разорался? — закричала она. — Я слушаю, слушаю… Думаю, или он с ума

спятил? Орёт, как Марьин козёл, когда заблудится!

Обидно стало Ваське, и он замолчал. И не то обидно, что мать сравнила его с Марьиным козлом, а то, что понапрасну он только старался и на улицу его всё равно сегодня не пустят.

Насупившись, он забрался на тёплую печку. Положил под голову овчинный полушубок и под ровное мурлыканье рыжего кота Ивана Ивановича задумался над своей печальной судьбой.

Скучно! Школы нет. Пионеров нет. Скорый поезд не останавливается. Зима не проходит. Скучно! Хоть бы лето скорей наступило! Летом — рыба, малина, грибы, орехи.

И Васька вспомнил о том, как однажды летом, всем на удивленье, он поймал на удочку здоровенного окуня.

Дело было к ночи, и он положил окуня в сени, чтобы утром подарить его матери. А за ночь в сени прокрался негодный Иван Иванович и сожрал окуня, оставив только голову да хвост.

Вспомнив об этом, Васька с досадой ткнул Ивана Ивановича кулаком и сказал сердито:

— В другой раз за такие дела голову сверну! Рыжий кот испуганно подпрыгнул, сердито мяукнул и лениво спрыгнул с печки. А Васька полежал-по-

лежал да и уснул.

На другой день горло прошло, и Ваську отпустили на улицу. За ночь наступила оттепель. С крыш свесились толстые острые сосульки. Подул влажный, мягкий ветер. Весна была недалеко.

Хотел Васька бежать разыскивать Петьку, а Петька и сам навстречу идёт.

— И куда ты, Петька, ходишь? — спросил Васька. — И почему ты, Петька, ко мне ни разу не зашёл? Когда у тебя заболел живот, то я к тебе зашёл, а когда у меня горло, то ты не зашёл.

— Я заходил, — ответил Петька. — Я подошёл к дому да вспомнил, что мы с тобой недавно ваше ведро в колодце утопили. Ну, думаю, сейчас Васькина мать меня ругать начнёт. Постоял, постоял да и раздумал заходить.

— Эх, ты! Да она уже давно отругалась и позабыла, а ведро батька из колодца ещё позавчера достал. Ты вперёд обязательно заходи… Что это за штуковина у тебя в газету завёрнута?

— Это не штуковина. Это книги. Одна книга для чтения, другая книга — арифметика. Я уже третий день с ними хожу к Ивану Михайловичу. Читать-то я умею, а писать нет и арифметику нет. Вот он меня и учит. Хочешь, я тебе сейчас задам арифметику? Ну вот, ловили мы с тобой рыбу. Я

поймал десять рыб, а ты три рыбы. Сколько мы вместе поймали?

— Что же это я как мало поймал? — обиделся Васька. — Ты десять, а я три. А помнишь, какого окуня я в прошлое лето выудил? Тебе такого и не выудить.

— Так ведь это же арифметика, Васька!

— Ну и что ж, что арифметика? Всё равно мало. Я три, а он десять! У меня на удилище поплавок настоящий, а у тебя пробка, да и удилище-то у тебя кривое…

— Кривое? Вот так сказал! Отчего же это оно кривое? Просто скривилось немного, так я его уже давно выпрямил. Ну ладно, я поймал десять рыб, а ты семь.

— Почему же это я семь?

— Как — почему? Ну, не клюёт больше, вот и всё.

— У меня не клюёт, а у тебя почему-то клюёт? Очень какая-то дурацкая арифметика.

— Экий ты, право! — вздохнул Петька. — Ну, пускай я десять рыб поймал и ты десять. Сколько всего будет?

— А много, пожалуй, будет, — ответил, подумав, Васька.

— «Много»! Разве так считают? Двадцать будет,

вот сколько. Я теперь каждый день к Ивану Михайловичу ходить буду, он меня и арифметике научит и писать научит. А то что! Школы нет, так неучёным дураком сидеть, что ли…

Обиделся Васька.

— Когда ты, Петька, за грушами лазил да упал и руку свихнул, то я тебе домой из лесу свежих орехов принёс, да две железные гайки, да живого ежа. А когда у меня горло заболело, то ты без меня живо к Ивану Михайловичу пристроился! Ты, значит, будешь учёный, а я просто так? А ещё товарищ…

Почувствовал Петька, что Васька правду говорит, и про орехи и про ежа. Покраснел он, отвернулся и замолчал.

Так помолчали они, постояли. И хотели уже разойтись поссорившись. Да только вечер был уж очень хороший, тёплый. И весна была близко, и по улицам маленькие ребятки дружно плясали возле рыхлой снежной бабы…

— Давай ребятишкам из санок поезд сделаем, — неожиданно предложил Петька. — Я буду паровозом, ты — машинистом, а они — пассажирами. А завтра пойдём вместе к Ивану Михайловичу и попросим. Он добрый, он и тебя тоже научит. Хорошо, Васька?

— Ещё бы плохо!

Так и не поссорились ребята, а ещё крепче подружились. Весь вечер играли и катались с маленькими. А утром отправились к доброму человеку, к Ивану Михайловичу.

2

Васька с Петькой шли на урок. Вредный Серёжка выскочил из-за калитки и заорал:

— Эй, Васька! А ну-ка сосчитай. Сначала я тебе три раза по шее стукну, а потом ещё пять, сколько это всего будет?

— Пойдём, Петька, поколотим его, — предложил обидевшийся Васька. — Ты один раз стукнешь, да я один раз. Вдвоём мы справимся. Стукнем по разу, да и пойдём.

— А потом он нас поодиночке поймает да вздует, — ответил более осторожный Петька.

— А мы не будем поодиночке, мы будем всегда вместе. Ты вместе, и я вместе. Давай, Петька, стукнем по разу, да и пойдём.

— Не надо, — отказался Петька. — А то во время драки книжки изорвать можно. Лето будет, тогда мы ему зададим. И чтоб не дразнился, и чтоб из нашей нырётки рыбы не вытаскивал.

— Всё равно будет вытаскивать! — вздохнул Васька.

— Не будет. Мы в такое место нырётку закинем, что он никак не найдёт.

— Найдёт, — уныло возразил Васька. — Он хитрый, да и «кошка» у него хитрая, острая.

— Что ж, что хитрый. Мы и сами теперь хитрые! Тебе уже восемь лет и мне восемь — значит, вдвоём нам сколько?

— Шестнадцать, — сосчитал Васька.

— Ну вот, нам шестнадцать, а ему девять. Значит, мы хитрее.

— Почему же шестнадцать хитрей, чем девять? — удивился Васька.

— Обязательно хитрей. Чем человек старей, тем он хитрей. Возьми-ка ты Павлика Припрыгина. Ему четыре года — какая же у него хитрость? У него что хочешь выпросить или стянуть можно. А возьми-ка ты хуторского Данилу Егоровича. Ему пятьдесят лет, и хитрей его не найдёшь. На него налогу двести пудов наложили, а он поставил мужикам водки, они ему спьяну-то какую-то бумагу и подписали. Пошёл он с этой бумагой в район, ему полтораста пудов и скостили.

— А люди не так говорят, — перебил Васька. — Люди говорят, что он хитрый не оттого, что старый, а оттого, что кулак. Как по-твоему, Петька, что это такое кулак? Почему один человек — как человек, а другой человек — как кулак?

— Богатый, вот и кулак. Ты вот бедный, так ты

и не кулак. А Данила Егорович кулак.

— Почему же это я бедный? — удивился Васька. — У нас батька сто двенадцать рублей получает. У нас поросёнок есть, да коза, да четыре курицы. Какие же мы бедные? У нас отец рабочий человек, а не какой-нибудь вроде пропащего Епифана, который христа ради побирается.

— Ну, пусть ты не бедный. Так у тебя отец сам работает, и у меня сам, и у всех сам. А у Данилы Егоровича на огороде летом четыре девки работали, да ещё какой-то племянник приезжал, да ещё какой-то будто бы свояк, да пьяный Ермолай сад сторожить нанимался. Помнишь, как тебя Ермолай крапивой отжучил, когда мы за яблоками лазили? Ух, и орал ты тогда! А я сижу в кустах и думаю: вот здорово Васька орёт — не иначе, как Ермолай его крапивой жучит.

— Ты-то хорош! — нахмурился Васька. — Сам убежал, а меня оставил.

— Неужели дожидаться? — хладнокровно ответил Петька. — Я, брат, через забор, как тигр, перескочил. Он, Ермолай, успел меня всего только два раза хворостиной по спине протянуть. А ты копался, как индюк, вот тебе и попало.

… Давно когда-то Иван Михайлович был машинистом. До революции он был машинистом на

простом паровозе. А когда пришла революция и началась гражданская война, то с простого паровоза перешёл Иван Михайлович на бронированный.

Петька и Васька много разных паровозов видели. Знали они и паровоз системы «С» — высокий, лёгкий, быстрый, тот, что носится со скорым поездом в далёкую страну — Сибирь. Видали они и огромные трёхцилиндровые паровозы «М», те, что могли тянуть тяжёлые, длинные составы на крутые подъёмы, и неуклюжие маневровые «О», у которых и весь путь-то только от входного семафора до выходного. Всякие паровозы видали ребята. Но вот такого паровоза, какой был на фотографии у Ивана Михайловича, они не видали ещё никогда. И паровоза такого не видали и вагонов не видали тоже.

Трубы нет. Колёс не видно. Тяжёлые стальные окна у паровоза закрыты наглухо. Вместо окон — узкие продольные щели, из которых торчат пулемёты. Крыши пет. Вместо крыши — низкие круглые башни, и из тех башен выдвинулись тяжёлые жерла артиллерийских орудий.

И ничего у бронепоезда не блестит: нет ни начищенных жёлтых ручек, ни яркой окраски, ни светлых стёкол. Весь бронепоезд, тяжёлый,

широкий, как будто бы прижавшийся к рельсам, выкрашен в серо-зелёный цвет.

И никого не видно: ни машиниста, ни кондукторов с фонарями, ни главного со свистком.

Где-то там, внутри, за щитом, за стальной обшивкой, возле массивных рычагов, возле пулемётов, возле орудий, насторожившись, притаились красноармейцы, но всё это закрыто, всё спрятано, всё молчит.

Молчит до поры до времени. Но вот прокрадётся без гудков, без свистков бронепоезд ночью туда, где близок враг, или вырвется на поле, туда где идёт тяжёлый бой красных с белыми. Ах, как резанут тогда из тёмных щелей гибельные пулемёты! Ух, как грохнут тогда из поворачивающихся башен залпы проснувшихся могучих орудий!

И вот однажды в бою ударил в упор очень тяжёлый снаряд по бронированному поезду. Прорвал снаряд обшивку и осколками оторвал руку военному машинисту Ивану Михайловичу.

С той поры Иван Михайлович уже не машинист. Получает он пенсию и живёт в городе у старшего сына — токаря в паровозных мастерских. А на разъезд он приезжает в гости к своей сестре. Есть такие люди, которые поговаривают,

что Ивану Михайловичу не только оторвало руку, но и зашибло снарядом голову, и что от этого он немного… ну, как бы сказать, не то что больной, а так, странный какой-то.

Однако ни Петька, ни Васька таким зловредным людям нисколько не верили, потому что Иван Михайлович был очень хороший человек. Одно только: курил Иван Михайлович уж очень много да чуть-чуть вздрагивали у него густые брови, когда рассказывал он что-нибудь интересное про прежние года, про тяжёлые войны, про то, как их белые начали да как их красные окончили.

А весна прорвалась как-то сразу. Что ни ночь — то тёплый дождик, что ни день — то яркое солнце. Снег таял быстро, как куски масла на сковороде.

Хлынули ручьи, взломало на Тихой речке лёд, распушилась верба, прилетели грачи и скворцы. И всё это разом. Пошёл всего десятый день, как нагрянула весна, а снегу уже нисколько, и грязь на дороге подсохла.

Вот однажды после урока, когда хотели ребята бежать на речку, чтобы посмотреть, намного ли спала вода, Иван Михайлович попросил:

— А что, ребята, не сбегаете ли в Алёшине? Мне бы Егору Михайловичу записку передать надо.

Отнесите ему доверенность с запиской. Он за меня в городе пенсию получит и сюда привезёт.

— Мы сбегаем, — живо ответил Васька. — Мы очень даже быстро сбегаем, прямо как кавалерия.

— Мы знаем Егора, — подтвердил Петька. — Это тот Егор, который председатель? У него ребята есть: Пашка да Машка. Мы в прошлом году с его ребятами в лесу малину собирали. Мы по целому лукошку набрали, а они чуть на донышке, потому что малы ещё и никак вперёд нас не поспеют.

— Вот к нему и сбегайте, — сказал Иван Михайлович. — Мы с ним старые друзья. Когда я на броневике машинистом был, он, Егор, еще молодой тогда парнишка, кочегаром у меня работал. Когда прорвало снарядом обшивку и отхватило мне осколком руку, мы вместе были. После взрыва я ещё минуту-другую в памяти оставался. Ну, думаю, пропало дело. Парнишка ещё несмышлёный, машину почти не знает. Один остался на паровозе. Разобьёт он и погубит весь броневик. Двинулся я, чтобы задний ход дать и машину из боя вывести. А в это время от командира сигнал: «Полный вперёд!» Оттолкнул меня Егор в угол на кучу обтирочной пакли, а сам как рванётся к рычагу: «Есть полный ход вперёд!» Тут закрыл я

глаза и думаю: «Ну, пропал броневик». Очнулся, слышу — тихо. Бой окончился. Глянул — рука у меня рубахой перевязана. А сам Егорка полуголый… Весь мокрый, губы запеклись, на теле — ожоги. Стоит он и шатается — вот-вот упадёт. Целых два часа один в бою машиной управлял. И за кочегара, и за машиниста, и со мной возился за лекаря…

Брови Ивана Михайловича вздрогнули, он замолчал и покачал головой, то ли над чем задумавшись, то ли что-то припоминая. А ребятишки молча стояли, ожидая, не расскажет ли Иван Михайлович ещё чего-нибудь, и удивлялись очень, что Пашкин и Машкин отец, Егор, оказался таким героем, потому что он вовсе не был похож на тех героев, которых видели ребята на картинках, висевших в красном уголке на разъезде. Те герои рослые, и лица у них гордые, а в руках у них красные знамёна или сверкающие сабли. А Пашкин да Машкин отец был невысокий, лицо у него было в веснушках, глаза узкие, прищуренные. Носил он простую чёрную рубаху и серую клетчатую кепку. Одно только, что упрямый был и если уж что заладит, то так и не отстанет, пока своего не добьётся.

Об этом ребята и в Алёшине от мужиков слы-

шали, и на разъезде слышали тоже.

Иван Михайлович написал записку, дал ребятам по лепёшке, чтобы в дороге не проголодались. И Васька с Петькой, сломав по хлыстику из налившегося соком ракитника, подхлёстывая себя по ногам, дружным галопом понеслись под горку.

3

Проезжей дорогой в Алёшино — девять километров, а прямой тропкой — всего пять.

Возле Тихой речки начинается густой лес. Этот лес без конца-края тянется куда-то очень далеко. В том лесу — озёра, в которых водятся крупные, блестящие, как начищенная медь, караси, но туда ребята не ходят: далеко, да и заблудиться в болоте нетрудно. В том лесу много малины, грибов, орешника. В крутых оврагах, по руслу которых бежит из болота Тихая речка, по прямым скатам из ярко-красной глины водятся в норах ласточки. В кустарниках прячутся ежи, зайцы и другие безобидные зверюшки. Но дальше, за озёрами, в верховьях реки Синявки, куда зимою уезжают мужики рубить для сплава строевой лес, встречали лесорубы волков и однажды наткнулись на старого, облезлого медведя.

Вот какой замечательный лес широко раскинулся в тех краях, где жили Петька и Васька!

И по этому, то по весёлому, то по угрюмому, лесу с пригорка на пригорок, через ложбинки, через жёрдочки поперёк ручьёв бодро бежали

ближней тропкой посланные в Алёшино ребята.

Там, где тропка выходила на проезжую дорогу, в одном километре от Алёшина, стоял хутор богатого мужика Данилы Егоровича.

Здесь запыхавшиеся ребятишки остановились у колодца напиться.

Данила Егорович, который тут же поил двух сытых коней, спросил у ребят, откуда они да зачем бегут в Алёшино. И ребята охотно рассказали ему, кто они такие и какое у них в Алёшине дело до председателя Егора Михайловича.

Они поговорили бы с Данилой Егоровичем и подольше, потому что им было любопытно посмотреть на такого человека, про которого люди поговаривают, что он кулак, но тут они увидели, что со двора выходят к Даниле Егоровичу три алёшинских крестьянина, а позади них идёт хмурый и злой, вероятно с похмелья, Ермолай. Заметив Ермолая, того самого, который отжучил однажды Ваську крапивой, ребята двинулись от колодца рысью и вскоре очутились в Алёшине, на площади, где собрался народ для какого-то митинга.

Но ребята, не задерживаясь, побежали дальше, на окраину, решив на обратном пути от Егора Михайловича разузнать, почему народ и что это такое интересное затевается.

Однако дома у Егора они застали только его ребятишек — Пашку и Машку. Это были шестилетние близнецы, очень дружные между собой и очень похожие друг на друга.

Как и всегда, они играли вместе. Пашка строгал какие-то чурочки и планочки, а Машка мастерила из них на песке, как показалось ребятам не то дом, не то колодец.

Впрочем, Машка объяснила им, что это не дом и не колодец, а сначала был трактор, теперь же будет аэроплан.

— Эх, вы! — сказал Васька, бесцеремонно тыкая в аэроплан ракитовым хлыстиком. — Эх, вы, глупый народ! Разве аэропланы из щепок делают? Их делают совсем из другого. Где ваш отец?

— Отец на собрание пошёл, — добродушно улыбаясь, ответил нисколько не обидевшийся Пашка.

— Он на собрание пошёл, — поднимая на ребят голубые, чуть-чуть удивлённые глаза, подтвердила Машка.

— Он пошёл, а дома только бабка лежит на печи и ругается, — добавил Пашка.

— А бабка лежит и ругается, — пояснила Машка. — И когда папанька уходил, она тоже ругалась. Чтобы, говорит, ты сквозь землю провалился со

своим колхозом.

И Машка обеспокоенно посмотрела в ту сторону, где стояла изба и где лежала недобрая бабка, которая хотела, чтобы отец провалился сквозь землю.

— Он не провалится, — успокоил её Васька. — Куда же он провалится? Ну, топни сама ногами о землю, и ты, Пашка, тоже топни. Да сильней топайте! Ну вот, не провалились? А ну, ещё покрепче топайте.

И, заставив несмышлёных Пашку и Машку усердно топать, пока те не запыхались, довольные своей озорной выдумкой, ребятишки отправились на площадь, где уже давно началось неспокойное собрание.

— Вот так дела! — сказал Петька, после того как потолкались они среди собравшегося народа.

— Интересные дела, — согласился Васька, усаживаясь на край толстого, пахнувшего смолою бревна и доставая из-за пазухи кусок лепёшки.

— Ты куда было пропал, Васька?

Напиться бегал. И что это так разошлись мужики? Только и слышно: колхоз да колхоз. Одни ругают колхоз, другие говорят, что без колхоза никак нельзя. Мальчишки и то схватываются. Ты знаешь Федьку Галкина? Ну, рябой такой.

— Знаю.

— Так вот. Я пить бегал и видел, как он сейчас с каким-то рыжим подрался. Тот, рыжий, выскочил да и запел: «Федька-колхоз — поросячий нос». А Федька рассердился на такое пение, и началась у них драка. Я уж тебя крикнуть хотел, чтобы ты посмотрел, как они дерутся. Да тут какая-то горбатая бабка гусей гнала и обоих мальчишек хворостиной огрела — ну, они и разбежались.

Васька посмотрел на солнце и забеспокоился:

— Пойдём, Петька, отдадим записку. Пока добежим домой, уж вечер будет. Как бы не попало дома.

Проталкиваясь через толпу, увёртливые ребята добрались до груды брёвен, возле которых за столом сидел Егор Михайлов.

Пока приезжий человек, забравшись на брёвна, объяснял крестьянам, какая выгода идти в колхоз, Егор негромко, но настойчиво убеждал в чём-то наклонившихся к нему двух членов сельсовета. Те покачивали головами, а Егор, по-видимому сердитый на них за их нерешительность, ещё упорней доказывал им что-то вполголоса, стыдил их.

Когда озабоченные члены сельсовета отошли от Егора, Петька молча сунул ему доверенность

и записку.

Егор развернул бумажку, но не успел прочитать, потому что на сваленные брёвна влез новый человек, и в этом человеке ребята узнали одного из тех мужиков, с которыми они встретились у колодца на хуторе Данилы Егоровича. Мужик говорил, что колхоз — это, конечно, дело новое и что сразу всем в колхоз соваться нечего. Записались сейчас в колхоз десять хозяйств, ну и пусть работают. Ежели у них пойдёт дело, то и другим вступить не поздно будет, а если дело не пойдёт, тогда, значит, в колхоз идти нет расчёта и нужно работать по-старому.

Он говорил долго, и, пока он говорил, Егор Михайлов всё ещё держал развёрнутую записку не читая. Он щурил узкие рассерженные глаза и, насторожившись, внимательно вглядывался в лица слушающих крестьян.

— Подкулачник! — с ненавистью сказал он, теребя пальцами сунутую ему записку.

Тогда Васька, опасаясь, как бы Егор нечаянно не скомкал доверенность Ивана Михайловича, тихонько дёрнул председателя за рукав:

— Дяденька Егор, прочти, пожалуйста. А то нам домой бежать надо.

Егор быстро прочитал записку и сказал ребя-

там, что всё сделает, что в город он поедет как раз через неделю, а до тех пор обязательно сам зайдёт к Ивану Михайловичу. Он хотел ещё что-то добавить, но тут мужик окончил свою речь, и Егор, сжимая в руке свою клетчатую кепку, вскочил на брёвна и начал говорить быстро и резко.

А ребята, выбравшись из толпы, помчались по дороге на разъезд.

Пробегая мимо хутора, они не заметили ни Ермолая, ни свояка, ни племянника, ни хозяйки — должно быть, все были на собрании. Но сам Данила Егорович был дома. Он сидел на крыльце, курил старую, кривую трубку, на которой была вырезана чья-то смеющаяся рожа, и казалось, что он был единственным человеком в Алёшине, которого не смущало, не радовало и не задевало новое слово — колхоз. Пробегая берегом Тихой речки через кусты, ребята услышали всплеск, как будто кто-то бросил в воду тяжёлый камень.

Осторожно подкравшись, они увидели Серёжку, который стоял на берегу и смотрел туда, откуда по воде расплывались ровные круги.

— Нырётку забросил, — догадались ребята и, хитро переглянувшись, тихонько поползли назад, запоминая на ходу это место.

Они выбрались на тропку и, обрадованные

необыкновенной удачей, ещё быстрее припустились к дому, тем более что слышно было, как загрохотало по лесу эхо от скорого поезда: значит, было уже пять часов. Значит, Васькин отец, свернув зелёный флаг, входил уж в дом, а Васькина мать уже доставала из печи горячий обеденный горшок.

Дома тоже зашёл разговор про колхоз. А разговор начался с того, что мать, уже целый год откладывавшая деньги на покупку коровы, ещё с зимы присмотрела у Данилы Егоровича годовалую тёлку и к лету надеялась выкупить её и пустить в стадо. Теперь же, прослышав про то, что в колхоз будут принимать только тех, кто перед вступлением не будет резать или продавать на сторону скотину, мать забеспокоилась о том, что, вступая в колхоз, Данила Егорович отведёт туда тёлку, и тогда ищи другую, а где её такую найдёшь?

Но отец был человек толковый, он читал каждый день железнодорожную газету «Гудок» и понимал, что к чему идёт.

Он засмеялся над матерью и объяснил ей, что Данилу Егоровича ни с тёлкой, ни без тёлки к колхозу и на сто шагов подпускать не полагается, потому что он кулак. А колхозы — они на то и

создаются, чтобы можно было жить без кулаков. И что, когда в колхоз войдёт всё село, тогда и Даниле Егоровичу, и мельнику Петунину, и Семёну Загребину придёт крышка, то есть рушатся все их кулацкие хозяйства.

Однако мать напомнила о том, как с Данилы Егоровича в прошлом году списали полтораста пудов налога, как его побаиваются мужики и как почему-то всё выходит так, как ему нужно. И она сильно усомнилась в том, чтобы хозяйство у Данилы Егоровича рушилось, а даже, наоборот, высказала опасение, как бы не рушился сам колхоз, потому что Алёшино — деревня глухая, кругом лес да болота. Научиться по-колхозному работать не у кого и помощи от соседей ждать нечего. Отец покраснел и сказал, что с налогом — это дело тёмное и не иначе, как Данила Егорович кому-то очки втёр да кого-то обжулил, а ему не каждый раз пройдёт, и что за такие дела недолго попасть куда следует. Но заодно он обругал и тех дураков из сельсовета, которым Данила Егорович скрутил голову, и сказал, что если бы это случилось теперь, когда председателем Егор Михайлов, то при нём такого безобразия не получилось бы.

Пока отец с матерью спорили, Васька съел два куска мяса, тарелку щей и будто нечаянно запи-

хал в рот большой кусок сахару из сахарницы, которую мать поставила на стол, потому что отец сразу же после обеда любил выпить стакан-другой чаю.

Однако мать, не поверив в то, что он это сделал нечаянно, турнула его из-за стола, и он, захныкав больше по обычаю, чем от обиды, полез на тёплую печку к рыжему коту Ивану Ивановичу и, по обыкновению, очень скоро задремал.

То ли ему это приснилось, то ли он правда слышал сквозь дрёму, а только ему показалось, что отец рассказывал про какой-то новый завод, про какие-то постройки, про каких-то людей, которые ходят и чего-то ищут по оврагам и по лесу, и будто бы мать всё удивлялась, всё не верила, всё ахала да охала.

Потом, когда мать стащила его с печки, раздела и положила спать на лежанку, ему приснился настоящий сон: будто бы в лесу горит очень много огней, будто бы по Тихой речке плывёт большой, как в синих морях, пароход и ещё будто бы на том пароходе уплывает он с товарищем Петькой в очень далёкие и очень прекрасные страны…

4

Дней через пять после того, как ребята бегали в Алёшино, после обеда, они украдкой направились к Тихой речке, чтобы посмотреть, не попалась ли в их нырётку рыба.

Добравшись до укромного места, они долго шарили по дну «кошкой», то есть маленьким якорем из выгнутых гвоздей. Чуть не оборвали бечеву, зацепивши крючьями за тяжёлую корягу. Вытащили на берег целую кучу скользких, пахнувших тиною водорослей. Однако нырётки не было.

— Её Серёжка утащил! — захныкал Васька. — Я тебе говорил, что он нас выследит. Вот он и выследил. Я тебе говорил: давай на другое место закинем, а ты не хотел.

— Так ведь это и есть уже другое место! — рассердился Петька. — Ты же сам это место выбрал, а теперь всё на меня сваливаешь. Да не хныкай ты, пожалуйста. Мне и самому жалко, а я не хныкаю.

Васька притих, но ненадолго. А Петька предложил:

— Помнишь, когда мы в Алёшине бежали, то

Серёжку у речки возле обгорелого дуба видели? Пойдём туда да пошарим. Может быть, его нырётку вытащим. Он — нашу, а мы — его. Пойдём, Васька. Да не хныкай ты, пожалуйста, — такой здоровый и толстый, а хныкает. Почему я никогда не хныкаю? Помнишь, когда меня сразу три пчелы за босую ногу ухватили, и то я не хныкал.

— Вот так не хныкал! — насупившись, ответил Васька. — Как заревел тогда, я даже лукошко с земляникой с перепугу выронил.

— Ничего не заревел. Ревут — это когда слёзы катятся, а я просто заорал, потому что испугался, да и больно. Поорал три секунды и перестал. А вовсе нисколько не ревел и не хныкал. Бежим, Васька!

Добравшись до берега, что возле обгорелого дуба, они долго обшаривали дно.

Возились-возились, устали, забрызгались, но ни своей, ни Серёжкиной нырётки не нашли.

Тогда, огорчённые, они уселись на бугорок под кустом распускающейся вербы и, посоветовавшись, решили с завтрашнего же дня начать за Серёжкой хитрую слежку, чтобы найти то место, куда он ходит перекидывать обе нырётки.

Чьи-то шаги, правда ещё далёкие, заставили ребятишек насторожиться, и они проворно ныр-

нули в гущу куста.

Однако это был не Серёжка. По тропке из Алёшина неторопливо шли двое крестьян. Один — незнакомый и, кажется, не здешний. Другой — дядя Серафим, небогатый алёшинский мужик, на которого часто валились всякие несчастья: то у него лошадь околела, то у него рожь кони вытоптали, то у него крыша сарая обвалилась и задавила поросёнка да гусёнка. И так каждый год что-нибудь с дядей Серафимом случалось.

Был он крепко трудящимся, но неудачливым и запуганным неудачами мужиком.

Дядя Серафим нёс на разъезд рыжие охотничьи сапоги, на которые он накладывал заплаты за два целковых, обещанных ему Васькиным отцом.

Оба мужика шли и ругали Данилу Егоровича. Ругал его тот, который был незнакомый, не алёшинский, а дядя Серафим слушал и уныло поддакивал.

За что незнакомый ругал Данилу Егоровича, этого ребята толком не поняли. Выходило как-то так, что Данила Егорович что-то купил у мужика по дешёвой цене и обещал мужику уступить в долг три мешка овса, а когда мужик приехал, то Данила Егорович заломил такую цену, какой и в городе-то на базаре нет, и говорил, что это ещё бо-

жеская цена, потому что к севу овёс поднимется ещё вполовину.

Когда оба хмурых крестьянина прошли мимо, ребятишки выбрались из кустов и опять уселись на тёплый зеленеющий бугор. Вечерело. От речки потянуло сыростью и запахом прибрежного ракитника. Куковала кукушка, и в красных лучах солнца кружилась кучками мелкая, как пыль, бесшумная весенняя мошкара.

Но вот среди тишины, сначала далёкий и тихий, как жужжание пчелиного роя, послышался из-за розовых облаков странный гул.

Потом, оторвавшись от круглого толстого облака, сверкнула в небе светлая, как будто серебряная, точка. Она всё увеличивалась. Вот уже у неё обозначились две пары распластанных крыльев… Вот уже вспыхнули на крыльях две пятиконечные звёздочки…

И весь аэроплан, могучий и красивый, быстрее, чем самый быстрый паровоз, но легче, чем самый быстролётный степной орёл, с весёлым рокотом сильных моторов плавно пронёсся над тёмным лесом, над пустынным разъездом и над Тихой речкой, у берега которой сидели ребятишки. — Далеко полетел! — тихо сказал Петька, не отрывая глаз от удаляющегося аэроплана.

— В дальние страны! — сказал Васька и вспомнил недавний хороший сон. — Они, аэропланы, всегда летают только в дальние. В ближние что? В ближние и на лошади можно доехать. Аэропланы — в дальние. Мы когда вырастем, Петька, то тоже — в дальние. Там есть и города, и огромнющие заводы, и большущие вокзалы. А у нас нет.

— У нас нет, — согласился Петька. — У нас только один разъезд на Алёшино, да больше ничего…

Ребятишки замолчали и, удивлённые и обеспокоенные, подняли головы. Гул опять усиливался. Сильная стальная птица возвращалась, опускаясь всё ниже. Теперь уже были видны маленькие колёса и светлый, блестящий диск сверкающего на солнце пропеллера.

Точно играя, машина скользнула, накренясь на левое крыло, завернула и сделала несколько широких кругов над лесом, над алёшинскими лугами, над Тихой речкой, на берегу которой стояли изумлённые и обрадованные мальчуганы.

— А ты… а ты говорил, только в дальние, — волнуясь и запинаясь, сказал Петька. — Разве же у нас дальние?

Машина опять взвилась кверху и вскоре исчезла, только изредка мелькая в просветах между толстыми розовыми тучами.

«И зачем он над нами кружился?» — думали ребята, торопливо пробираясь к разъезду, чтобы поскорей рассказать, что они видели.

Они были заняты догадками, зачем прилетал аэроплан и что он высматривал, и почти не обратили внимания на одинокий выстрел, глухо раздавшийся где-то далеко позади них.

Вернувшись домой, Васька ещё застал дядю Серафима, которого угощали чаем.

Дядя Серафим рассказывал про алёшинские дела. В колхоз пошло полдеревни. Вошло и его хозяйство. Остальная половина выжидала, что будет. Собрали паевые взносы и три тысячи на акции Трактороцентра. Но сеять будет в эту весну каждый на своей полосе, потому что земля колхозу к одному месту ещё не выделена.

Успели выделить только покос на левом берегу Тихой речки.

Однако и тут случилось неладное. У мельника Петунина прорвало плотину, и вода вся ушла, не разлившись по протокам левого берега. От этого трава должна быть плохая, потому что луга заливные и хороший урожай на них бывает только после большой воды.

— У Петунина прорвало? — недоверчиво переспросил отец. — Что это у него раньше не

прорывало?

— А кто его знает, — уклончиво ответил дядя Серафим. — Может, вода прорвала, а может, и ещё как.

— Жулик этот Петунии — сказал отец. — Что он, что Данила Егорович, что Семён Загребин — одна компания. Ну, как они, сердятся?

— Да как сказать, — ответил хмурый дядя Серафим. — Данила — тот ходит, как бы его не касается. Ваше, говорит, дело. Хотите — в колхоз, хотите — в совхоз. Я тут ни при чём. Петунии — мельник — тот действительно озлобился. Скрывает, а видать, что озлобился. В колхозный луг и его участок попал. А какой у него участок? Ха-а-роший участок! Ну, а Загребин? Сам знаешь Загребина. У этого всё шуточки да прибауточки. Недавно по почте плакаты прислали и лозунги разные. Ну вот, сторож Бочаров пошёл их по деревне расклеивать. Где к забору, где к стене приклеит. Проходит он мимо избы Загребина и сомневается: вешать или не вешать? Как бы хозяин не заругался. А Загребин вышел из ворот и смеётся: «Что же не вешаешь? Эх ты, колхозная голова! Другим праздник, а мне будни, что ли?» Взял два самых больших плаката да и повесил.

— Ну, а Егор Михайлов как? — спросил отец.

— Егор Михайлов? — ответил дядя Серафим, отодвигая допитый стакан. — Егор — крепкий человек, да что-то про него много неладного болтают.

— Что болтают?

— Вот, к примеру, говорят, что когда он два года в отлучке был, то будто его откуда-то прогнали за плохие дела. Будто бы чуть под суд не отдали. То ли у него с деньгами что-то неладное вышло, то ли ещё как.

— Зря болтают, — уверенно возразил Васькин отец.

— Надо бы думать, что зря. А ещё болтают, — тут дядя Серафим покосился на Васькину мать и на Ваську, — будто бы в городе у него эта самая есть… ну, невеста, что ли, — добавил он после некоторой заминки.

— Ну и что же, что невеста? Пускай женится. Он вдовый. Пашке да Машке мать будет.

— Городская, — с усмешкой пояснил дядя Серафим. — Барышня там или ещё как. Ей богатого нужно, а у него какое жалованье?… Ну, я пойду, — сказал дядя Серафим, поднимаясь. — Спасибо за угощенье.

— Может быть, ночевать останешься? — предложили ему. — А то, гляди, темень какая. По

просёлку идти придётся. Тропкой-то в лесу ещё заплутаешься.

— Не заплутаю, — отозвался дядя Серафим. — По этой тропке в двадцатом с партизанами ух сколько было исхожено!

Он нахлобучил потрёпанную соломенную шляпу с большими обвислыми полями и, заглянув в окно, добавил:

— Эк, звёзд сколько повысыпало, да и луна скоро взойдёт — светло будет!

5

Ночи были ещё прохладные, но Васька, забрав старое ватное одеяло да остатки овчинного тулупа, перебрался спать на сеновал.

Ещё с вечера он условился с Петькой, что тот разбудит его пораньше и они пойдут ловить на червяка плотву.

Но когда проснулся, было уже поздно — часов девять, а Петьки не было. Очевидно, Петька и сам проспал.

Васька позавтракал жареной картошкой с луком, сунул в карман кусок хлеба, посыпанный сахарным песком, и побежал к Петьке, собираясь выругать его сонулей и лодырем.

Однако дома Петьки не было. Васька зашёл в дровяной сарай — удилища были здесь. Но Ваську очень удивило то, что они не стояли в углу, на месте, а, точно наспех брошенные, кое-как, валялись посреди сарая. Тогда Васька вышел на улицу, чтобы расспросить у маленьких ребятишек, не видали ли они Петьки. На улице он встретил только одного четырёхлетнего Павлика Припрыгина, который упорно пытался сесть

верхом на большую рыжую собаку. Но едва только он с пыхтеньем и сопеньем поднимал ноги, чтобы оседлать её, Кудлаха перевёртывалась и, лёжа кверху брюхом, лениво помахивая хвостом, отталкивала Павлика своими широкими, неуклюжими лапами.

Павлик Припрыгин сказал, что Петьки он не видал, и попросил у Васьки помочь ему взобраться на Кудлаху.

Но Ваське было не до того. Раздумывая, куда бы это мог пропасть Петька, он пошёл дальше и вскоре натолкнулся на Ивана Михайловича, читавшего, сидя на завалинке, газету.

Иван Михайлович Петьку не видал тоже. Васька огорчился и сел рядом.

— Про что это ты, Иван Михайлович, читаешь? — спросил он, заглядывая через плечо. — Ты читаешь, а сам улыбаешься. История какая-нибудь или что?

— Про наши места читаю. Тут, брат Васька, написано, что собрались строить возле нашего разъезда завод. Огромный заводище. Алюминий — металл такой — из глины добывать будут. Богатые, пишут, места у нас насчёт этого алюминия. А мы живём — глина, думаем. Вот тебе и глина!

И, как только Васька услыхал про это, он тотчас

же соскочил с завалинки, чтобы бежать к Петьке и первым сообщить ему эту удивительную новость. Но, вспомнив, что Петька куда-то пропал, он уселся опять, расспрашивая Ивана Михайловича о том, как будут строить, на каком месте и высокие ли у завода будут трубы.

Где будут строить, этого Иван Михайлович ещё и сам не знал, но насчёт труб он разъяснил, что их вовсе не будет, потому что завод будет работать на электричестве. Для этого хотят построить плотину поперёк Тихой речки. Поставят такие турбины, которые будут крутиться от напора воды и вертеть динамо-машины, а от этих динам пойдёт по проволокам электрический ток.

Услыхав о том, что и Тихую речку собираются перегораживать, изумлённый Васька снова вскочил, но, вспомнив опять, что Петьки нет, обозлился на него всерьёз.

— И что за дурак! Тут такие дела, а он шляется.

В конце улицы он заметил маленькую шуструю девчонку, Вальку Шарапову, которая вот уже несколько минут прыгала на одной ноге вокруг колодезного сруба. Он хотел пойти к ней и спросить, не видала ли она Петьку, но его задержал Иван Михайлович:

— Вы когда в Алёшино бегали, ребята? В субботу

или в пятницу?

— В субботу, — вспомнил Васька. — В субботу, потому что у нас в тот вечер баню топили.

— В субботу. Значит, уже неделя прошла. Что же это Егор Михайлович ко мне не заходит?

— Егор-то? Да он, Иван Михайлович, кажется, ещё вчера в город уехал. У нас вечером алёшинский дядя Серафим чай пил и говорил, что Егор уже уехал.

— Что же это он не зашёл? — с досадой сказал Иван Михайлович. — Обещался зайти и не зашёл. А я — то хотел попросить, чтобы он в городе трубку мне купил.

Иван Михайлович сложил газету и пошёл в дом, а Васька направился к Вальке спрашивать про Петьку.

Но он совсем позабыл о том, что ещё только вчера надавал ей за что-то шлепков, и поэтому он был очень удивлён, когда, завидев его, бойкая Валька показала ему язык и со всех ног бросилась улепётывать к дому.

Между тем Петька был вовсе неподалёку.

Пока Васька бродил, раздумывая о том, куда исчез его товарищ, Петька сидел в кустах, позади огородов, и с нетерпением ожидал, когда Васька уйдёт к себе во двор.

Он не хотел сейчас встречаться с Васькой, потому что за это утро с ним произошёл странный и, пожалуй, даже неприятный случай.

Проснувшись рано, как и было условлено, он взял удилища и направился будить Ваську. Но едва только он высунулся из калитки, как увидал Серёжку.

Не было никакого сомнения в том, что Серёжка направлялся к реке осматривать нырётки. Не подозревая, что Петька за ним подглядывает, он шёл мимо огородов к тропке, на ходу складывая бечёвку от железной «кошки».

Петька вернулся во двор, бросил на пол сарая удилища и побежал вслед за Серёжкой, который скрылся уже в кустах.

Серёжка шёл, весело насвистывая на самодельной деревянной дудочке.

И это было очень на руку Петьке, потому что он мог следовать в некотором отдалении, не подвергаясь опасности быть замеченным и поколоченным.

Утро было солнечное, гомонливое. Всюду лопались почки.

Из земли пробивалась свежая трава. Пахло росою, берёзовым соком, и на жёлтых гроздьях цветущих ив дружно жужжали вылетевшие за

добычей пчёлы.

Оттого, что утро было такое хорошее, и оттого, что он так удачно выследил Серёжку, Петьке было весело, и он легко и осторожно пробирался по кривой узенькой тропке.

Так прошло с полчаса, и они приближались к тому месту, где Тихая речка, делая крутой поворот, уходила в овраги.

«Далеко забирается... хитрый», — подумал Петька, уже заранее торжествуя при мысли о том, как, захватив «кошку», побегут они с Васькой к реке, выловят и свою и Серёжкину нырётки и перекинут их на такое место, где Серёжке их уже и вовек не найти.

Посвистывание деревянной дудки внезапно смолкло.

Петька прибавил шагу. Прошло несколько минут — опять тихо.

Тогда, обеспокоенный, стараясь не топать, он побежал и, очутившись у поворота, высунул, из кустов голову: Серёжки не было.

Тут Петька вспомнил, что немного раньше в сторону уходила маленькая тропа, которая вела к тому месту, где Филькин ручей впадал в Тихую речку. Он вернулся к устью ручья, но и там Серёжки не было.

Ругая себя за ротозейство и недоумевая, куда это мог скрыться Серёжка, он вспомнил и о том, что немного выше по течению Филькина ручья есть маленький пруд. И хотя он никогда не слыхал, чтобы в том пруду ловили рыбу, но всё же решил сбегать туда, потому что кто его, Серёжку, знает! Он такой хитрый, что разыскал что-нибудь и там.

Вопреки его предположениям, пруд оказался не так близко.

Он был очень мал, весь зацвёл тиной, и, кроме лягушек, в нём ничего хорошего водиться не могло.

Серёжки и тут не было.

Обескураженный, Петька отошёл к Филькину ручью, напился воды, такой холодной, что больше одного глотка без передышки нельзя было сделать, и хотел идти назад.

Васька, конечно, уже проснулся. Если не говорить Ваське, отчего его не разбудил, то Васька рассердится. А если сказать, то Васька будет насмехаться: «Эх, ты, не уследил! Вот я бы… Вот от меня бы…» и так далее.

И вдруг Петька увидел нечто такое, что заставило его сразу позабыть и о Серёжке, и о нырётках, и о Ваське.

Вправо, не дальше как в сотне метров, из-за кустов выглянула острая вышка брезентовой палатки. И над нею поднималась узенькая прозрачная полоска — дым от костра.

6

Сначала Петька просто испугался. Он быстро пригнулся и опустился на одно колено, настороженно оглядываясь по сторонам.

Было очень тихо. Так тихо, что ясно слышалось весёлое бульканье холодного Филькина ручья и жужжание пчёл, облепивших дупло старой, покрытой мхами берёзы.

И оттого, что было так тихо, и оттого, что лес был приветлив и озарён пятнами тёплого солнечного света. Петька успокоился и осторожно, но уже не из боязни, а просто по хитрой мальчишеской привычке, прячась за кусты, начал подбираться к палатке.

«Охотники? — гадал он. — Нет, не охотники… Зачем они с палаткой приедут? Рыболовы? Нет, не рыболовы — от берега далеко. Но если не охотники и не рыболовы, то кто же?»

«А вдруг разбойники?» — подумал он и вспомнил, что в одной старой книге он видел картинку: тоже в лесу палатка; возле той палатки сидят и пируют свирепые люди, а рядом с ними сидит очень худая и очень печальная красавица и поёт

им песню, перебирая длинные струны какого-то замысловатого инструмента.

От этой мысли Петьке стало не по себе. Губы его задрожали, он заморгал и хотел было попятиться назад. Но тут в просвете между кустами он увидал натянутую верёвку, и на той верёвке висели, по-видимому ещё мокрые после стирки, самые обыкновенные подштанники и две пары синих заплатанных носков.

И эти сырые подштанники и заплатанные, болтающиеся по ветру носки как-то сразу успокоили его, и мысль о разбойниках показалась ему смешной и глупой. Он пододвинулся ближе. Теперь ему было видно, что ни около палатки, ни в самой палатке никого нет.

Он разглядел два набитых сухими листьями тюфяка и большое серое одеяло. Посреди палатки на разостланном брезенте валялись какие-то синие и белые бумаги, несколько кусков глины и камней, таких, какие часто попадаются на берегах Тихой речки; тут же лежали какие-то тускло поблёскивающие и незнакомые Петьке предметы.

Костёр слабо дымился. Возле костра стоял большой, перепачканный сажей жестяной чайник. На примятой траве валялась большая белая кость,

обглоданная, очевидно, собакой.

Осмелевший Петька подобрался к самой палатке. Прежде всего его заинтересовали незнакомые металлические предметы. Один — треногий, как подставка у заезжавшего в прошлом году фотографа. Другой — круглый, большой, с какими-то цифрами и протянутой поперёк круга ниткой. Третий — тоже круглый, но поменьше, похожий на ручные часы, с острой стрелкой.

Он поднял этот предмет. Стрелка колыхнулась, заколебалась и опять стала на место.

«Компас», — догадался Петька, припоминая, что про такую штуковину он читал в книжке.

Чтобы проверить это, он обернулся кругом.

Тонкая острая стрелка тоже повернулась и, несколько раз качнувшись, чёрным концом показала в ту сторону, где на опушке высилась старая раскидистая сосна. Петьке это понравилось. Он обошёл вокруг палатки, завернул за куст, завернул за другой и перекрутился на месте десять раз, рассчитывая обмануть и запутать стрелку. Но едва только он остановился, как лениво качнувшаяся стрелка с прежним упорством и настойчивостью зачернённым остриём показала Петьке, что её, сколько ни вертись, всё равно не обманешь. «Как живая», — подумал

восхищённый Петька, сожалея, что у него нет такой замечательной штуки. Он вздохнул и раздумывал, положить компас на место или нет (возможно, что он положил бы). Но в это самое время от противоположной опушки отделилась огромная лохматая собака и с громким лаем устремилась к нему.

Испуганный Петька взвизгнул и бросился бежать напролом через кусты. Собака с яростным лаем неслась за ним и, конечно, догнала бы его, если бы не Филькин ручей, через который по колено в воде перебрался Петька.

Добежав до ручья, который был в этом месте широк, собака заметалась по берегу, отыскивая, где можно было бы перепрыгнуть.

А Петька, не дожидаясь, пока это случится, понёсся вперёд, прыгая через пни, через коряги и кочки, как преследуемый гончими заяц.

Он остановился передохнуть только тогда, когда очутился уже на берегу Тихой речки.

Облизывая пересохшие губы, он подошёл к реке, напился и, учащённо дыша, тихонько зашагал к дому, чувствуя себя не очень-то хорошо.

Конечно, он не взял бы компаса, если бы не собака.

Но всё-таки собака или не собака, а выходило

так, что компас-то он украл.

А он знал, что за такие дела его взгреет отец, не похвалит Иван Михайлович да не одобрит, пожалуй, и Васька.

Но так как дело было уже сделано, а возвращаться с компасом назад ему было и страшно и стыдновато, он утешил себя тем, что, во-первых, он не виноват, во-вторых, кроме собаки, его никто не видал, а в-третьих, компас можно спрятать подальше, а когда-нибудь позже, к осени или к зиме, когда никакой уже палатки не будет, сказать, что нашёл, и оставить себе.

Вот какими мыслями занят был Петька и вот почему отсиживался он в кустах за огородами и не выходил к Ваське, который с досадой разыскивал его с самого раннего утра.

7

Но, спрятав компас на чердаке дровяного сарая, Петька не побежал искать Ваську, а направился в сад и там задумался над тем, что бы это такое получше соврать.

Вообще-то соврать при случае он был мастер, но сегодня, как назло, ничего правдоподобного придумать не мог. Конечно, он мог бы рассказать только о том, как он неудачно выслеживал Серёжку, и не упоминать ни о палатке, ни о компасе.

Но он чувствовал, что у него не хватит терпения смолчать о палатке. Если смолчать, то Васька и сам может как-нибудь разузнать и тогда будет хвалиться и зазнаваться: «Эх, ты, ничего не знаешь! Всегда я первый всё узнаю…»

И Петька подумал, что если бы не компас и не эта проклятая собака, то всё было бы интересней и лучше. Тогда ему пришла очень простая и очень хорошая мысль: а что, если пойти к Ваське и рассказать ему про палатку и про компас? Ведь компас-то он и на самом деле не украл. Ведь во всем виновата только собака. Возьмут они с Васькой компас, сбегают к палатке и положат его на

место. А собака? Ну и что же собака? Во-первых, можно взять с собою хлеба или мясную кость и кинуть ей, чтобы не гавкала. Во-вторых, можно взять с собою палки. В-третьих, вдвоём вовсе уж не так страшно.

Он так и решил сделать и хотел сейчас же бежать к Ваське, но тут его позвали обедать, и он пошёл с большой охотой, потому что за время своих похождений сильно проголодался. После обеда повидать Ваську тоже не удалось. Мать ушла полоскать бельё и заставила его караулить дома маленькую сестрёнку Еленку.

Обыкновенно, когда мать уходила и оставляла его с Еленкой, он подсовывал ей разные тряпки и чурочки и, пока она возилась с ними, преспокойно убегал на улицу и, только завидев мать, возвращался к Еленке, как будто от неё и не отходил.

Но сегодня Еленка была немного нездорова и капризничала. И когда, всучив ей гусиное перо да круглую, как мячик, картофелину, он направился к двери, Еленка подняла такой рёв, что проходившая мимо соседка заглянула в окно и погрозила Петьке пальцем, предполагая, что он устроил сестрёнке какую-либо каверзу.

Петька вздохнул, уселся рядом с Еленкой на

толстое одеяло, разостланное на полу, и унылым голосом начал петь ей весёлые песни.

Когда вернулась мать, уже вечерело, и наконец-то освободившийся Петька выскочил из дверей и стал свистать, вызывая Ваську.

— Эх, ты! — укоризненно закричал Васька ещё издалека. — Эх, Петька! И где ты, Петька, весь день прошлялся? И почему, Петька, я тебя весь день искал и не нашёл?

И, не дожидаясь, пока Петька что-либо ответит, Васька быстро выложил все собранные им за день новости. А новостей у Васьки было много.

Во-первых, возле разъезда будут строить завод. Во-вторых в лесу стоит палатка, и в той палатке живут очень хорошие люди, с которыми он, Васька, уже познакомился. В-третьих, Серёжкин отец выдрал сегодня Серёжку, и Серёжка выл на всю улицу.

Но ни завод, ни плотина, ни то, что Серёжке попало от отца, — ничто так не удивило и не смутило Петьку, как то, что Васька каким-то образом узнал о существовании палатки и первый сообщил о ней ему, Петьке.

— Откуда ты про палатку знаешь? — спросил обиженный Петька. — Я, брат, сам первый всё знаю, со мной сегодня история случилась…

— «История, история»! — перебил его Васька. — Какая у тебя история? У тебя неинтересная история, а у меня интересная. Когда ты пропал, то я тебя долго искал. И тут искал, и там искал, и всюду искал. Надоело мне искать. Вот пообедал я и пошёл в кусты хлыст срезать. Вдруг навстречу мне идёт человек. Высокий, сбоку кожаная сумка, такая, как у красноармейских командиров. Сапоги-то как у охотника, но только не военный и не охотник. Увидел он меня и говорит: «Пойди-ка сюда, мальчик». Ты думаешь, что я испугался? Нисколько. Вот подошел я, а он посмотрел на меня и спрашивает: «Ты, мальчик, сегодня рыбу ловил?» — «Нет, — говорю, — не ловил. За мной этот дурак Петька не зашёл. Обещал зайти, а сам куда-то пропал». — «Да, — говорит он, — я и сам вижу, что это не ты. А нет ли у вас другого такого мальчика, немного повыше тебя и волосы рыжеватые?» — «Есть, — говорю, — у нас такой, только это не я, а Серёжка, который нашу нырётку украл». — «Вот, вот, — говорит он, — он недалеко от нашей палатки в пруд сетку закидывал. А где он живёт?» — «Идёмте, — отвечаю я. — Я вам, дядя, покажу, где он живёт».

Идём мы, а я думаю: «И зачем это ему Серёжка понадобился? Лучше бы мы с Петькой понадо-

бились».

Пока мы шли, он мне всё и рассказал. Их двое в палатке. А палатка повыше Филькина ручья. Они, двое-то эти, такие люди — геологи. Землю осматривают, камни, глину ищут и всё записывают, где камни, где песок, где глина. Вот я ему и говорю: «А что, если мы с Петькой к вам придём? Мы тоже будем искать. Мы здесь всё знаем. Мы в прошлом году такой красный камень нашли, что прямо-таки удивительно, до чего красный. А к Серёжке, — говорю ему, — вы, дядя, лучше бы и не ходили. Он вредный, этот Серёжка. Только бы ему драться да чужие нырётки таскать». Ну, пришли мы. Он в дом зашёл, а я на улице остался. Смотрю выбегает Серёжкина мать и кричит: «Серёжка! Серёжка! Не видал ли ты, Васька, Серёжку?» А я отвечаю: «Нет, не видал. Видел, только не сейчас, а сейчас не видел». Потом тот человек — техник — вышел, я его проводил до леса, и он позволил, чтобы мы с тобой к ним приходили. Вот вернулся Серёжка. Его отец и спрашивает: «Ты какую-то вещь в палатке взял?» А Серёжка отказывается. Только отец, конечно, не поверил да и выдрал его. А Серёжка как завыл! Так ему и надо. Верно, Петька?

Однако Петьку нисколько не обрадовал такой

рассказ. Лицо Петьки было хмурое и печальное. После того как он узнал, что за украденный им компас уже выдрали Серёжку, он почувствовал себя очень неловко. Теперь было уже поздно рассказывать Ваське о том, как было дело. И, захваченный врасплох, он стоял печальный, растерянный и не знал, что он будет сейчас говорить и как теперь будет объяснять Ваське своё отсутствие.

Но его выручил сам Васька.

Гордый своим открытием, он хотел быть великодушным.

— Ты что нахмурился? Тебе обидно, что тебя не было? А ты бы не убегал, Петька. Раз условились, значит, условились. Ну, да ничего, мы завтра вместе пойдём, я же им сказал: и я приду, и мой товарищ Петька придёт. Ты, наверное, к тётке на кордон бегал? Я смотрю: Петьки нет, удилища в сарае. Ну, думаю, наверное, он к тётке побежал. Ты там был?

Но Петька не ответил. Он помолчал, вздохнул и спросил, глядя куда-то мимо Васьки:

— И здорово отец Серёжку отлупил?

— Должно быть, уж здорово, раз Серёжка так завыл, что на улице слышно было.

— Разве можно бить? — угрюмо сказал Петь-

ка. — Теперь не старое время, чтобы бить. А ты «отлупил да отлупил». Обрадовался! Если бы тебя отец отлупил, ты бы обрадовался?

— Так ведь не меня, а Серёжку, — ответил Васька, немного смущённый Петькиными словами. — И потом, ведь не задаром, а за дело: зачем он в чужую палатку залез? Люди работают, а он у них инструмент ворует. И что ты, Петька, сегодня чудной какой-то. То весь день шатался, то весь вечер сердишься.

— Я не сержусь, — негромко ответил Петька. — Просто у меня сначала зуб заболел, а теперь уже перестаёт.

— И скоро перестанет? — участливо спросил Васька.

— Скоро. Я, Васька, лучше домой побегу. Полежу, полежу дома — он и перестанет.

8

Вскоре ребята подружились с обитателями брезентовой палатки.

Их было двое. С ними был лохматый сильный пёс, по кличке «Верный». Этот Верный охотно познакомился с Васькой, но на Петьку он сердито зарычал. И Петька, который знал, за что на него сердится собака, быстро спрятался за высокую спину геолога, радуясь тому, что Верный может только рычать, но не может рассказать то, что знает.

Теперь целыми днями ребята пропадали в лесу. Вместе с геологами они обшаривали берега Тихой речки.

Ходили на болото и даже зашли однажды к дальним Синим озёрам, куда ещё никогда не рисковали забираться вдвоём.

Когда дома их спрашивали, где они пропадают и что они ищут, то они с гордостью отвечали:

— Мы глину ищем.

Теперь они уже знали, что глина глине рознь. Есть глины тощие, есть жирные, такие, которые в сыром виде можно резать ножом, как ломти

густого масла. По нижнему течению Тихой речки много суглинка, то есть глины рыхлой, смешанной с песком. В верховьях, у озёр, попадается глина с известью, или мергель, а поближе к разъезду залегают мощные пласты красно-бурой глинистой охры.

Всё это было очень интересно, особенно потому, что раньше вся глина казалась ребятам одинаковой. В сухую погоду это были просто ссохшиеся комья, а в мокрую — обыкновенная густая и липкая грязь. Теперь же они знали, что глина — это не просто грязь, а сырьё, из которого будет добываться алюминий, и охотно помогали геологам разыскивать нужные породы глин, указывали запутанные тропки и притоки Тихой речки.

Вскоре на разъезде отцепили три товарных вагона, и какие-то незнакомые рабочие начали сбрасывать на насыпь ящики, брёвна и доски.

В эту ночь взволнованные ребятишки долго не могли уснуть, довольные тем, что разъезд начинает жить новой жизнью, не похожей на прежнюю.

Однако новая жизнь приходить не очень-то торопилась. Выстроили рабочие из досок сарай, свалили туда инструменты, оставили сторожа и, к великому огорчению ребят, все до одного

уехали обратно.

Как-то в послеобеденное время Петька сидел возле палатки. Старший геолог Василий Иванович чинил продранный локоть рубахи, а другой — тот, который был похож на красноармейского командира, — измерял что-то по плану циркулем.

Васьки не было. Ваську оставили дома сажать огурцы, и он обещался прийти попозже.

— Вот беда, — сказал высокий, отодвигая план. — Без компаса — как без рук. Ни съёмку сделать, ни по карте ориентироваться. Жди теперь, пока другой из города пришлют.

Он закурил папироску и спросил у Петьки:

— И всегда этот Серёжка у вас такой жулик?

— Всегда, — ответил Петька.

Он покраснел и, чтобы скрыть это, наклонился над погасшим костром, раздувая засыпанные золой угли.

— Петька! — крикнул на него Василий Иванович. — Всю золу на меня сдул! Зачем ты раздуваешь? — Я думал… может быть, чайник, — неуверенно ответил Петька.

— Такая жарища, а он — чайник, — удивился высокий и опять начал про то же: — И зачем ему понадобился этот компас? А главное, отка-

зывается, говорит — не брал. Ты бы сказал ему, Петька, по-товарищески: «Отдай, Серёжка. Если сам снести боишься, дай я снесу». Мы и сердиться не будем и жаловаться не будем. Ты скажи ему, Петька.

— Скажу, — ответил Петька, отворачивая лицо от высокого. Но, отвернувшись, он встретился с глазами Верного. Верный лежал, вытянув лапы, высунув язык, и, учащённо дыша, уставился на Петьку, как бы говоря: «И врёшь же ты, братец! Ничего ты Серёжке не скажешь».

— Да верно ли, что это Серёжка компас украл? — спросил Василий Иванович, окончив шить и втыкая иголку в подкладку фуражки. — Может быть, мы его сами куда-нибудь засунули и зря только на мальчишку думаем?

— А вы бы поискали, — быстро предложил Петька. — И вы поищите, и мы с Васькой поищем. И в траве поищем и всюду.

— Чего искать? — удивился высокий. — Я же у вас попросил компас, а вы, Василий Иванович, сами сказали, что захватить его из палатки позабыли. Чего же теперь искать?

— А мне теперь начинает казаться, что я его захватил. Хорошо не помню, а как будто бы захватил, — хитро улыбаясь, сказал Василий

Иванович. — Помните, когда мы сидели на сваленном дереве на берегу Синего озера? Огромное такое дерево. Уж не выронил ли я компас там?

— Чудно что-то, Василий Иванович, — сказал высокий, — То вы говорили, что из палатки не брали, а теперь вот что…

— Ничего не чудно, — горячо вступился Петька. — Эдак тоже бывает. Очень даже часто бывает: думаешь — не брал, а оказывается — брал. И у нас с Васькой было. Пошли один раз мы рыбу ловить. Вот я по дороге спрашиваю: «Ты, Васька, маленькие крючки не позабыл?» — «Ой, — говорит он, — позабыл». Побежали мы назад. Ищем, ищем, никак не найдём. Потом глянул я ему на рукав, а они у него к рукаву приколоты. А вы, дядя, говорите — чудно. Ничего не чудно.

И Петька рассказал другой случай, как косой Геннадий весь день искал топор, а топор стоял за веником. Он говорил убедительно, и высокий переглянулся с Василием Ивановичем.

— Гм… А пожалуй, можно будет сходить и поискать. Да вы бы сами, ребята, сбегали как-нибудь и поискали.

— Мы поищем, — охотно согласился Петька. — Если он там, то мы его найдём. Никуда он от нас не денется. Тогда мы — раз, раз, туда, сюда и обя-

зательно найдём.

После этого разговора, не дожидаясь Васьки, Петька поднялся и, заявив, что он вспомнил про нужное дело, попрощался и, отчего-то очень весёлый, побежал к тропке, ловко перескакивая через зелёные, покрытые мхом кочки, через ручейки и муравьиные кучи.

Выбежав на тропку, он увидал группу возвращавшихся с разъезда алёшинских крестьян.

Они были чем-то взволнованы, очень рассержены и громко ругались, размахивая руками и перебивая друг друга. Позади шёл дядя Серафим. Лицо его было унылое, ещё унылее, чем тогда, когда обвалившаяся крыша сарая задавила у него поросёнка и гусака.

И по лицу дяди Серафима Петька понял, что над ним опять стряслась какая-то беда.

9

Но беда стряслась не только над дядей Серафимом. Беда стряслась над всем Алёшином и, главное, над алёшинским колхозом.

Захватив с собой три тысячи крестьянских денег, тех самых, которые были собраны на акции Трактороцентра, скрылся неизвестно куда главный организатор колхоза — председатель сельсовета Егор Михайлов.

В городе он должен был пробыть двое, ну, от силы трое суток. Через неделю ему послали телеграмму, потом забеспокоились — послали другую, потом послали вслед нарочного. И, вернувшись сегодня, нарочный привёз известие, что в райколхозсоюз Егор не являлся и в банк денег не сдавал.

Заволновалось, зашумело Алёшино Что ни день, то собрание. Приехал из города следователь. И хотя всё Алёшино ещё задолго до этого случая говорило о том, что у Егора в городе есть невеста, и хотя от одного к другому передавалось много подробностей — и кто она такая, и какая она собой, и какого она характера, но теперь оказалось

как-то так, что никто ничего не знал. И никак нельзя было доискаться: кто же видел эту Егорову невесту и откуда вообще узнали о том, что она действительно существует?

Так как дела теперь были запутаны, то ни один из членов сельсовета не хотел замещать председателя.

Из района прислали нового человека, но алёшинские мужики отнеслись к нему холодно. Пошли разговоры, что вот, дескать, Егор тоже приехал из района, а три тысячи крестьянских денег ухнули.

И среди этих событий оставшийся без вожака, а главное, совсем ещё не окрепший, только что организовавшийся колхоз начал разваливаться.

Сначала подал заявление о выходе один, потом другой, потом сразу точно прорвало — начали выходить десятками, без всяких заявлений, тем более что наступил сев и каждый бросился к своей полосе. Только пятнадцать дворов, несмотря на свалившуюся беду, держались и не хотели выходить.

Среди них было и хозяйство дяди Серафима.

Этот вообще-то запуганный несчастьями и придавленный бедами мужик с совершенно непонятным для соседей каким-то ожесточён-

ным упрямством ходил по дворам и, ещё более хмурый, чем всегда, говорил всюду одно и то же: что надо держаться, что если сейчас из колхоза выйти, то тогда уже и вовсе некуда идти, останется только бросить землю и уйти куда глаза глядят, потому что прежняя жизнь — это не жизнь.

Его поддерживали братья Шмаковы, многосемейные мужики, давнишние товарищи по партизанскому отряду, в один день с дядей Серафимом поротые когда-то батальоном полковника Марциновского. Его поддерживал член сельсовета Игошкин, молодой, недавно отделившийся от отца паренёк. И, наконец, неожиданно взял сторону колхоза Павел Матвеевич, который теперь, когда начались выходы, точно назло всем, подал заявление о приёме его в колхоз. Так сколотилось пятнадцать хозяйств. Они выехали в поле на сев не очень-то весёлые, но упорные в своём твёрдом намерении не сходить с начатого пути.

За всеми этими событиями Петька да Васька позабыли на несколько дней про палатку. Они бегали в Алёшино. Они тоже негодовали на Егора, удивлялись упорству тихого дяди Серафима и очень жалели Ивана Михайловича.

— Бывает и так, ребятишки. Меняются люди, — сказал Иван Михайлович, затягиваясь сильно

чадившей, свёрнутой из газетной бумаги цигаркой. — Бывает… меняются. Только кто бы сказал про Егора, что он переменится? Твёрдый был человек. Помню я как-то… Вечер… Въехали мы на какой-то полустанок. Стрелки сбиты, крестовины повынуты, сзади путь разобран и мостик сожжён. На полустанке ни души; кругом лес. Впереди где-то фронт и с боков фронты, а кругом банды. И казалось, что конца-краю этим бандам и фронтам нет и не будет.

Иван Михайлович замолчал и рассеянно посмотрел в окно, туда, где по красноватому закату медленно и упорно продвигались тяжёлые грозовые облака.

Цигарка чадила, и клубы дыма, медленно разворачиваясь, тянулись к верху по стене, на которой висела полинялая фотография старого боевого бронепоезда.

— Дядя Иван! — окликнул его Петька.

— Чего тебе?

— Ну вот: «А кругом банды, и конца-краю этим фронтам и бандам нет и не будет», — слово в слово повторил Петька.

— Да… А разъезд в лесу. Тихо. Весна. Пичужки эти самые чирикают. Вылезли мы с Егоркой грязные, промасленные, потные. Сели на траву. Что

делать? Вот Егор и говорит: «Дядя Иван, у нас впереди крестовины повынуты и стрелки поломаны, позади мост сожжён. И мотаемся мы третьи сутки взад и вперёд по этим бандитским лесам. И спереди фронт и с боков фронты. А всё-таки победим-то мы, а не кто-нибудь». — «Конечно, — говорю ему, — мы. Об этом никто не спорит. Но команда наша с броневиком навряд ли из этой ловушки выберется». А он отвечает: «Ну, не выберемся. Ну и что же? Наш 16-й пропадёт —28-й на линии останется, 39-й. Доработают». Сломал он веточку красного шиповника, понюхал её, воткнул в петлицу угольной блузы. Улыбнулся — как будто бы нет и не было счастливей его человека на свете, взял гаечный ключ, маслёнку и полез под паровоз. Иван Михайлович опять замолчал, и Петьке с Васькой так и не пришлось услышать, как выбрался броневик из ловушки, потому что Иван Михайлович быстро вышел в соседнюю комнату.

— А как же ребятишки Егора? — немного погодя спросил старик из-за перегородки. — У него их двое.

— Двое, Иван Михайлович, Пашка да Машка. Они с бабкой остались, а бабка у них старая. И на печке сидит — ругается, и с печки слезает

— ругается. Так целый день — либо молится, либо ругается.

— Надо бы сходить посмотреть. Надо бы что-нибудь придумать. Жалко всё-таки ребятишек, — сказал Иван Михайлович. И слышно было, как за перегородкой запыхтела его дымная махорочная цигарка.

С утра Васька с Иваном Михайловичем пошли в Алёшино. Звали с собой Петьку, но он отказался — сказал, что некогда.

Васька удивился: почему это Петьке вдруг стало некогда? Но Петька, не дожидаясь расспросов, убежал.

В Алёшине они зашли к новому председателю, но его не застали. Он уехал за реку, на луг.

Из-за этого луга теперь шла яростная борьба. Раньше луг был поделён между несколькими дворами, причём больший участок принадлежал мельнику Петунину. Потом, когда организовался колхоз, Егор Михайлов добился, чтобы луг этот целиком отвели колхозу. Теперь, когда колхоз развалился, прежние хозяева требовали прежние участки и ссылались на то, что после кражи казённых денег обещанной из района сенокосилки колхозу всё равно не дадут и с сенокосом он не управится.

Но оставшиеся в колхозе пятнадцать дворов ни за что не хотели разбивать луг и, главное, уступать Петунину прежний участок. Председатель держал сторону колхоза, но многие озлобленные последними событиями крестьяне вступились за Петунина.

И Петунии ходил спокойный, доказывал, что правда на его стороне и что он хоть в Москву поедет, а своего добьётся.

Дядя Серафим и молодой Игошкин сидели в правлении и сочиняли какую-то бумагу.

— Пишем! — сердито сказал дядя Серафим, здороваясь с Иваном Михайловичем. — Они свою бумагу в район послали, а мы свою пошлём. Прочитай-ка, Игошкин, ладно ли мы написали. Он человек сторонний, и ему виднее.

Пока Игошкин читал да пока они обсуждали, Васька выбежал на улицу и встретился там с Федькой Галкиным, с тем самым рябым мальчуганом, который недавно подрался с «Рыжим» из-за того, что тот дразнился: «Федька-колхоз — поросячий нос».

Федька рассказал Ваське много интересного. Он рассказал о том, что у Семёна Загребина недавно сгорела баня и Семён ходил и божился, что это его подожгли. И что от этой бани огонь чуть-чуть

не перекинулся на колхозный сарай, где стоял триер и лежало очищенное зерно.

Ещё он рассказал, что по ночам теперь колхоз наряжает своих сторожей по очереди. И что когда, в свою очередь, Федькин отец запоздал вернуться с разъезда, то он, Федька, сам пошел в обход, а потом его сменила мать, которая взяла колотушку и пошла сторожить.

— Всё Егор, — закончил Федька. — Он виноват, а нас всех ругают. Все вы, говорят, мастера на чужое.

— А ведь он раньше героем был, — сказал Васька.

— Он и не раньше, а всегда как герой был. У нас мужики и до сих пор никак в толк не возьмут — с чего это он. Он только с виду такой невзрачный, а как возьмётся за что-нибудь, глаза прищурятся, заблестят. Скажет — как отрубит. Как он с лугом-то быстро дело обернул! Будем, говорит вместе косить, а озимые, говорит, будем вместе и сеять.

— Отчего же он такое плохое дело сделал? — спросил Васька. — Или вот люди говорят, что от любви?

— От любви свадьбу справляют, а не деньги воруют, — возмутился Федька. — Если бы все от любви деньги воровали, тогда что бы было?

Нет уж, это не от любви, а не знаю от чего… И я не знаю, и никто не знает. А есть у нас такой Сидор хромой. Старый уже. Так тот и вовсе, если начнёшь про Егора говорить, он и слушать не хочет: «Нету, говорит, ничего этого». И не слушает, отвернётся и заковыляет скорей в сторону. И всё что-то бормочет, бормочет, а у самого слёзы катятся, катятся. Такой блажной старик. Он раньше у Данилы Егоровича на пасеке работал. Да тот рассчитал за что-то, а Егор вступился.

— Федька, — спросил Васька, — а что Ермолая не видать? Или он в этот год у Данилы Егоровича сад караулить не будет?

— Будет. Вчера я его видал, он из лесу шёл. Пьяный. Он всегда такой. Покуда яблоки не поспеют, он пьёт. А как только время подходит, так Данила Егорович денег на водку ему больше не даёт, и тогда он караулит трезвый да хитрый. Помнишь, Васька, как он тебя один раз крапивой?…

— Помню, помню, — скороговоркой ответил Васька, стараясь замять эти неприятные воспоминания. — Отчего это, Федька, Ермолай в рабочие не идёт, землю не пашет? Ведь он вон какой здоровый.

— Не знаю, — ответил Федька. — Слышал я, что ещё давно когда-то он, Ермолай, в дезертиры

от красных уходил. Потом в тюрьме сколько-то сидел. А с тех пор он всегда такой. То уйдёт куда-нибудь из Алёшина, то на лето опять вернётся. Я, Васька, не люблю Ермолая. Он только к собакам добрый, да и то когда пьяный.

Ребятишки разговаривали долго. Васька тоже рассказал Федьке о том, какие дела творятся около разъезда. Рассказал про палатку, про завод, про Серёжку, про компас.

— И вы к нам прибегайте, — предложил Васька. — Мы к вам бегаем, и вы к нам бегайте. И ты, и Колька Зипунов, и ещё кто-нибудь. Ты читать-то умеешь, Федька?

— Немножко.

— И мы с Петькой тоже немножко.

— Школы нет. Когда Егор был, то он очень старался, чтобы школа была. А теперь уж не знаю как. Озлобились мужики — не до школы.

— Завод строить начнут, и школу построят, — утешал его Васька. — Может быть, доски какие-нибудь останутся, брёвна, гвозди… Много ли на школу нужно? Мы попросим рабочих, они и построят. Да мы сами помогать будем. Вы прибегайте к нам, Федька, и ты, и Колька, и Алёшка. Соберёмся кучей, что-нибудь интересное придумаем.

— Ладно, — согласился Федька. — Как только с картошкой управимся, так и прибежим.

Вернувшись в правление колхоза, Васька Ивана Михайловича уже не застал. Ивана Михайловича он нашёл у Егоровой избы, возле Пашки да Машки.

Пашка и Машка грызли принесённые им пряники и, перебивая и дополняя друг друга, доверчиво рассказывали старику про свою жизнь и про сердитую бабку.

10

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Солнце светит — гоп, хорошо! Цок-цок! Ручьи звенят. Птицы поют. Гайда, кавалерия!

Так скакал по лесу на своих двоих, держа путь к дальним берегам Синего озера, отважный и весёлый кавалерист Петька. В правой руке он сжимал хлыст, который заменял ему то гибкую нагайку, то острую саблю, в левой — фуражку с запрятанным в неё компасом, который нужно было сегодня спрятать, а завтра во что бы то ни стало разыскать с Васькой у того сваленного дерева, где отдыхал когда-то забывчивый Василий Иванович.

— Гайда, гай! Гоп-гоп! Хорошо жить! Василий Иванович — хорошо! Палатка — хорошо! Завод — хорошо! Всё хорошо! Стоп!

И Петька, он же конь, он же и всадник, со всего размаха растянулся на траве, зацепившись ногою за выступивший корень.

— У, чёрт, спотыкаешься! — выругал Петька-всадник Петьку-коня. — Как взгрею нагайкой, так не будешь спотыкаться.

Он поднялся, вытер попавшую в лужу руку и осмотрелся.

Лес был густой и высокий. Огромные, спокойные старые берёзы отсвечивали поверху яркой свежей зеленью. Внизу было прохладно и сумрачно. Дикие пчёлы с однотонным жужжанием кружились возле дупла полусгнившей, покрытой наростами осины. Пахло грибами, прелой листвой и сыростью распластавшегося неподалёку болотца.

— Гайда, гай! — сердито прикрикнул Петька-всадник на Петьку-коня. — Не туда заехал!

И, дёрнув левый повод, он поскакал в сторону, на подъём.

«Хорошо жить, — думал на скаку храбрый всадник Петька. — И сейчас хорошо. А вырасту — будет ещё лучше. Вырасту — сяду на настоящего коня, пусть мчится. Вырасту — сяду на аэроплан, пусть летит. Вырасту — стану к машине, пусть грохает. Все дальние страны проскачу и облетаю. На войне буду первым командиром. На воздухе буду первым лётчиком. У машины буду первым машинистом. Гайда, гай! Гоп-гоп! Стоп!»

Прямо под ногами сверкала ярко-жёлтыми кувшинками узкая мокрая поляна. Озадаченный Петька вспомнил, что такой поляны на его пути

не должно быть, и решил, что, очевидно, проклятый конь опять занёс его не туда, куда надо.

Он обогнул болотце и, обеспокоенный, пошёл шагом, внимательно осматриваясь и угадывая, куда же это он попал.

Однако чем дальше он шёл, тем яснее становилось ему, что он заблудился. И от этого с каждым шагом жизнь начинала уже казаться ему всё более и более печальной и мрачной.

Покрутившись ещё немного, он остановился, вовсе уже не зная, куда дальше идти, но тут- он вспомнил о том, что как раз при помощи компаса мореплаватели и путешественники всегда находят правильный путь. Он вынул из кепки компас, нажал сбоку кнопочку, и освобождённая стрелка зачернённым остриём показала в ту сторону, в какую Петька меньше всего собирался идти. Он тряхнул компас, но стрелка упорно показывала всё то же направление.

Тогда Петька пошёл, рассуждая, что компасу виднее, но вскоре упёрся в такую гущу разросшегося осинника, что прорваться через неё, не изодрав рубахи, было никак невозможно.

Он пошёл в обход и опять взглянул на компас. Но сколько он ни крутился, стрелка с бессмысленным упрямством толкала его или в болото, или

в гущу, или ещё куда-нибудь в самое неудобное, труднопроходимое место.

Тогда, обозлённый и испуганный, Петька всунул компас в кепку и пошёл дальше просто на глаз, сильно подозревая, что все мореплаватели и путешественники должны были бы давно погибнуть, если бы они всегда держали путь туда, куда показывает зачернённое остриё стрелки.

Он шёл долго и собирался уже прибегнуть к последнему средству, то есть громко заплакать, но тут в просвет деревьев он увидел низкое, опускавшееся к закату солнце.

И вдруг весь лес как будто бы повернуло к нему другой, более знакомой стороной. Очевидно, это произошло оттого, что он вспомнил, как на фоне заходившего солнца всегда ярко вырисовывались крест и купол алёшинской церкви.

Теперь он понял, что Алёшино не слева от него, как он думал, а справа и что Синее озеро у него уже не впереди, а позади.

И едва только это случилось, лес показался ему знакомым, так как все перепутанные поляны, болотца и овраги в обычной последовательности прочно и послушно улеглись на свои места.

Вскоре он угадал, где находится. Это было довольно далеко от разъезда, но не так уже далеко

от тропки, которая вела из Алёшина на разъезд. Он приободрился, вскочил на воображаемого коня и вдруг притих и насторожил уши.

Совсем неподалёку он услышал песню. Это была какая-то странная песня, бессмысленная, глухая и тяжёлая. И Петьке не понравилась такая песня. И Петька притаился, оглядываясь и ожидая удобной минуты, чтобы дать коню шпоры и помчаться скорей от сумерек, от неприветливого леса, от странной песни на знакомую тропку, на разъезд домой.

11

Ещё не доходя до разъезда, возвращающиеся из Алёшина Иван Михайлович и Васька услышали шум и грохот.

Поднявшись из ложбины, они увидели, что весь тупик занят товарными вагонами и платформами. Немного поодаль раскинулся целый посёлок серых палаток. Горели костры, дымилась походная кухня, бурчали над кострами котлы. Ржали лошади. Суетились рабочие, сбрасывая брёвна, доски, ящики и стаскивая с платформы повозки, сбрую и мешки.

Потолкавшись среди работающих, рассмотрев лошадей, заглянув в вагоны и палатки и даже в топку походной кухни, Васька побежал разыскивать Петьку, чтобы расспросить его, когда приехали рабочие, как было дело и почему это Серёжка крутится возле палаток, подтаскивая хворост для костров, и никто его не ругает и не гонит прочь.

Но встретившаяся по пути Петькина мать сердито ответила ему, что «этот идол» провалился куда-то ещё с полдня и обедать домой не при-

ходил.

Это совсем уже удивило и рассердило Ваську.

«Что это с Петькой делается? — думал он. — В прошлый раз куда-то пропал, сегодня опять тоже пропал. И какой этот Петька хитрый! Тихоня тихоней, а сам что-то втихомолку вытворяет».

Раздумывая над Петькиным поведением и очень не одобряя его, Васька неожиданно натолкнулся на такую мысль: а что, если это не Серёжка, а сам Петька, чтобы не делиться уловом, взял да и перебросил нырётку и теперь выбирает тайком рыбу?

Это подозрение ещё больше укрепилось у Васьки после того, как он вспомнил, что в прошлый раз Петька соврал ему будто бы бегал к тетке. На самом деле его там не было.

И теперь, почти что уверившись в своём подозрении, Васька твёрдо решил учинить Петьке строгий допрос и, в случае чего, поколотить его, чтобы вперёд так делать было неповадно.

Он пошёл домой и ещё из сеней услышал, как отец с матерью о чём-то громко спорили.

Опасаясь, как бы вгорячах и ему за что-нибудь не попало, он остановился и прислушался.

— Да как же это так? — говорила мать, и по её голосу Васька понял, что она чем-то взволнова-

на. — Хоть бы одуматься дали. Я картошки две меры посадила, огурцов три грядки. А теперь, значит, всё пропало?

— Экая ты, право! — возмущался отец. — Неужели же будут дожидаться? Подождём, дескать, пока у Катерины огурцы поспеют. Тут вагоны негде разгружать, а она — огурцы. И что ты, Катя, чудная какая? То ругалась: и печка в будке плоха, и тесно, и низко, а теперь жалко ей будку стало. Да пусть её ломают. Пропади она пропадом!

«Почему огурцы пропали? Какие вагоны? Кто будет ломать будку?» — опешил Васька и, подозревая что-то недоброе, вошёл в комнату.

И то, что он узнал, ошеломило его ещё больше, чем первое известие о постройке завода. Их будку сломают. По участку, на котором она стоит, проложат запасные пути для вагонов с построечными грузами.

Переезд перенесут на другое место и там построят для них новый дом.

— Ты пойми, Катерина, — доказывал отец, — разве же нам такую будку построят? Это теперь не прежнее время, чтобы для сторожей какие-то собачьи конуры строить. Нам построят светлую, просторную. Ты радоваться должна, а ты… огурцы, огурцы!

Мать молча отвернулась.

Если бы всё это подготавливалось потихоньку да исподволь, если бы всё это не навалилось вдруг, сразу, она и сама была бы довольна оставить старую, ветхую и тесную конурку. Но сейчас её пугает то, что всё кругом решалось, делалось и двигалось как-то уж очень быстро. Пугало то, что события с невиданней, необычной торопливостью возникали одно за другим. Жил разъезд тихо. Жило Алёшино тихо. И вдруг точно какая-то волна, издалека докатившись наконец и сюда, захлестнула и разъезд и Алёшино. Колхоз, завод, плотина, новый дом… Всё это смущало и далее пугало своей новизной, необычностью и, главное, своей стремительностью.

— А верно ли, Григорий, что лучше будет? — спросила она, расстроенная и растерянная. — Плохо ли, хорошо ли, а жили мы да жили. А вдруг хуже будет?

— Полно тебе, — возражал ей отец. — Полно городить, Катя… Стыдно! Мелешь, сама не знаешь что. Разве затем оно у нас все делается, чтобы хуже было? Ты посмотри лучше на Васькину рожу. Вон он стоит, шельмец, и рот до ушей. На что мал ещё, а и то понимает, что лучше будет. Так, что ли, Васька?

Но Васька даже не нашёл что ответить и только молча кивнул головой.

Много новых мыслей, новых вопросов занимало его неспокойную голову. Так же как и мать, он удивлялся тому, с какой быстротой следовали события. Но его не пугала эта быстрота — она увлекала, как стремительный ход мчавшегося в дальние страны скорого поезда.

Он ушёл на сеновал и забрался под тёплый овчинный полушубок. Но ему не спалось.

Издалека слышался непрекращающийся стук сбрасываемых досок. Пыхтел маневровый паровоз. Лязгали сталкивающиеся буфера, и как-то тревожно звучал сигнальный рожок стрелочника.

Через выломанную доску крыши Васька видел кусочек ясного чёрно-синего неба и три ярких лучистых звезды.

Глядя на эти дружно мерцавшие звёзды, Васька вспомнил, как уверенно говорил отец о том, что жизнь будет хорошая. Он ещё крепче укутался в полушубок, закрыл глаза и подумал: «А какая она будет хорошая?» — и почему-то вспомнил плакат, который висел в красном уголке. Большой, смелый красноармеец стоит у столба и, сжимая замечательную винтовку, зорко смотрит

вперёд. Позади него зелёные поля, где желтеет густая, высокая рожь, цветут большие, неогороженные сады и где раскинулись красивые и так не похожие на убогое Алёшино просторные и привольные сёла.

А дальше, за полями, под прямыми широкими лучами светлого солнца гордо высятся трубы могучих заводов. Через сверкающие окна видны колёса, огни, машины.

И всюду люди, бодрые, весёлые. Каждый занят своим делом — и на полях, и в сёлах, и у машин. Одни работают, другие уже отработали и отдыхают.

Какой-то маленький мальчик, похожий немного на Павлика Припрыгина, но только не такой перемазанный, задрав голову, с любопытством разглядывает небо, по которому плавно несётся длинный стремительный дирижабль.

Васька всегда немного завидовал тому, что этот смеющийся мальчуган был похож на Павлика Припрыгина, а не на него, Ваську.

Но в другом углу плаката — очень далеко, в той стороне, куда зорко всматривался стороживший эту дальнюю страну красноармеец, — было нарисовано что-то такое, что всегда возбуждало у Васьки чувство смутной и неясной тревоги.

Там вырисовывались чёрные расплывчатые тени. Там обозначались очертания озлобленных, нехороших лиц. И как будто бы кто-то смотрел оттуда пристальными, недобрыми глазами и ждал, когда уйдёт или когда отвернётся красноармеец.

И Васька был очень рад, что умный и спокойный красноармеец никуда не уходил, не отворачивался, а смотрел как раз туда, куда надо. И всё видел, и всё понимал.

Васька уже совсем засыпал, когда услышал, как хлопнула калитка: кто-то зашёл к ним в будку.

Минуту спустя его окликнула мать:

— Вася… Васька! Ты спишь, что ли?

— Нет, мама, не сплю.

— Ты не видал сегодня Петьку?

— Видал, да только утром, а больше не видал. А на что он тебе?

— А на то, что сейчас его мать приходила. Пропал, говорит, ещё до обеда и до сего времени нет и нет.

Когда мать ушла, Васька встревожился. Он знал, что Петька не очень-то храбрый, чтобы разгуливать по ночам, и поэтому он никак не мог понять, куда девался его непутёвый товарищ.

Петька вернулся поздно. Он вернулся без фуражки. Глаза его были красные, заплаканные,

но уже сухие. Видно было, что он очень устал, и поэтому он как-то равнодушно выслушал все упрёки матери, отказался от еды и молча залез под одеяло.

Он вскоре уснул, но спал неспокойно: ворочался, стонал и что-то бормотал.

Он сказал матери, что просто заблудился, и мать поверила ему. То же самое он сказал Ваське, но Васька не особенно поверил. Для того чтобы заблудиться, надо куда-то идти или что-то разыскивать. А куда и зачем он ходил, этого Петька не говорил или нёс что-то несуразное, нескладное, и Ваське сразу было видно, что он врёт.

Но когда Васька попытался изобличить его во лжи, то обыкновенно изворотливый Петька не стал даже оправдываться. Он только, усиленно заморгав, отвернулся.

Убедившись в том, что всё равно от Петьки ничего не добьёшься, Васька прекратил расспросы, оставшись, однако, в сильном подозрении, что Петька — товарищ какой-то странный, скрытный и хитрый. К этому времени геологическая палатка снялась со своего места, с тем чтобы продвинуться дальше, к верховьям реки Синявки.

Васька и Петька помогали грузить вещи на навьюченных лошадей. И когда всё было готово к

тому, чтобы тронуться в путь, Василий Иванович и другой, — высокий — тепло попрощались с ребятами, с которыми они так много бродили по лесам. Они должны были вернуться на разъезд только к концу лета.

— А что, ребята, — спросил Василий Иванович напоследок, — вы так и не сбегали поискать компас?

— Всё из-за Петьки, — ответил Васька. — То он сначала сам предложил: пойдём, пойдём... А когда я согласился, то он упёрся и не идёт. Один раз звал — не идёт. Другой раз — не идёт. Так и не пошёл.

— Ты что же это? — удивился Василий Иванович, который помнил, как горячо вызывался Петька отправиться на поиски.

Неизвестно, что бы ответил и как бы вывернулся смутившийся и притихший Петька, но тут одна из навьюченных лошадей, отвязавшись от дерева, побежала по тропке. Все кинулись догонять её, потому что она могла уйти в Алёшино.

Точно после удара нагайки, Петька рванулся за ней прямо через кусты, через мокрый луг. Он весь обрызгался, изорвал подол рубахи и, выскочив наперерез, уже перед самой тропкой крепко вцепился в поводья.

И когда он молча подводил упрямившегося коня к запыхавшемуся и отставшему Василию Ивановичу, он учащённо дышал, глаза его блестели, и видно было, что он несказанно горд и счастлив, что ему удалось оказать услугу этим отправляющимся в дальний путь хорошим людям.

12

И ещё не успели достроить новый дом, едва только закончили настилку пола и принялись за оконные рамы, а стальные линии запасных путей уже переползли через грядки, опрокинули ветхий заборчик, столкнули дровяной сарай и упёрлись в стены старой будки.

— Ну, Катя, — сказал отец, — будем сегодня переезжать. Двери да окна и при нас могут докончить. А здесь, как видишь, ожидать не приходится.

Тогда стали связывать узлы, вытаскивать ящики, матрацы, чугуны, ухваты.

Сложили всё это на телегу. Привязали сзади козу Маньку и тронулись на новые места.

Отец взялся за вожжи. Васька держал керосиновую лампу и хрупкий стеклянный колпак. Мать бережно прижимала два глиняных горшка с кустиками распустившихся гераней.

Перед тем как тронуться, все невольно обернулись.

Уже со всех сторон обступали рабочие старенькую грязновато-жёлтую будку. Уже застучали

по крыше топоры, заскрипели выворачиваемые ржавые гвозди, и первые сорванные доски тяжело грохнулись о землю.

— Как на пожаре, — сказала мать, отворачиваясь и низко склоняя голову, — и огня нет, а кругом — как пожар.

Вскоре из Алёшина целым гуртом прибежали ребятишки: Федька, Колька, Алёшка и ещё двое незнакомых — Яшка да Шурка.

Ходили на площадку смотреть экскаватор, бегали к плотине, где забивали в землю бревенчатые шпунты, и наконец пошли купаться.

Вода была тёплая. Плавали, брызгались и долго хохотали над трусливым Шуркой, который громко и отчаянно заорал, когда нырнувший Федька неожиданно схватил его под водой за ноги.

Потом валялись на берегу, разговаривали о прежних и новых делах.

— Васька, — спросил Федька, лёжа на спине и закрывая рукою от солнца круглое веснушчатое лицо, — что это такое пионеры? Почему, например, они идут всегда вместе и в барабан бьют и в трубы трубят? А вот один раз отец читал, что пионеры не воруют, не ругаются, не дерутся и ещё чего-то там не делают. Что же они, как святые, что ли?

— Ну нет… не святые, — усомнился Васька. Я в прошлом году к дяде ездил. У него сын Борька — пионер, так он мне два раза так по шее натрескал, что только держись. А ты говоришь — не дерутся. Просто обыкновенные мальчишки и девчонки. Вырастут, в комсомольцы пойдут, потом в Красную Армию. И я, когда вырасту, тоже пойду в Красную Армию. Возьму винтовку и буду сторожить.

— Кого сторожить? — не понял Федька.

— Как — кого? Всех! А если не сторожить, то налетит белая армия, мне Иван Михайлович всё рассказал. Белая — это всякие цари, всякие торговцы, кулаки.

— А кто же Данила Егорович? — спросил молча слушавший Алёшка. — Вот он кулак. Значит, он тоже белая армия?

— У него винтовки нет, — после некоторого раздумья ответил Васька. — У него нет винтовки, а есть только старая шомполка.

— А если бы была? — не унимался Алёшка.

— А если бы да если бы! А кто ему продаст винтовку? Разве же винтовки или пулемёты продают каждому, кто захочет?

— Нам бы не продали, — согласился Алёшка.

— Нам бы не продали, потому что мы малы

ещё, а Даниле Егоровичу совсем не поэтому. Вот погодите, школа будет, тогда всё узнаете.

— Будет ли школа? — усомнился Федька.

— Обязательно будет, — уверял Васька. — Вы приходите на той неделе, мы все вместе, гуртом, пойдем к главному инженеру и попросим, чтобы велел построить.

— Совестно как-то просить, — поёжился Алёшка.

— Ничего не совестно. Это одному совестно. Вот скажут, какой выискался! А если всем, то нисколько не совестно. Я хоть сам пойду и попрошу. Чего бояться? Что он, стукнет, что ли.

Алёшинские ребята собрались уходить, а Васька решил проводить их.

Когда они вышли на тропку, то увидели Петьку. По-видимому, он давно стоял тут и раздумывал, подойти ему к ребятам или не подойти.

— Пойдём, Петька, с нами, — предложил Васька, которому не хотелось возвращаться одному. — Пойдём, Петька. Что ты такой скучный? Все весёлые, а он скучный.

Петька посмотрел на солнце, но солнце стояло ещё высоко, и, виновато улыбнувшись, он согласился.

Возвращаясь вдвоём, под высоким дубом, что

рос неподалёку от хутора Данилы Егоровича, они увидели Пашку да Машку.

Эти маленькие ребятишки сидели на зелёном бугре и собирали что-то с земли, должно быть, прошлогодние жёлуди.

— Пойдём к ним, — предложил Васька, — посидим, отдохнём и посмеёмся немножко. Пойдём, Петька! И что ты стал какой-то тихоня? Успеешь ещё домой.

Они осторожно подобрались сзади к ребятишкам, опустились на четвереньки и сердито зарычали:

— Рррр… рррр…

Пашка и Машка подскочили и, даже не смея обернуться, схватились за руки и пустились наутёк.

Но ребята обогнали их и загородили им дорогу.

— И что как напугали! — укоризненно сказал Пашка, серьёзно хмуря коротенькие тонкие брови.

— Совсем испугали! — подтвердила Машка, вытирая наполнившиеся слезами глаза.

— А вы думали, это кто? — спросил довольный своей шуткой Васька.

— А мы думали — волк, — ответил Пашка.

— Или думали — медведь, — добавила Машка

и, улыбнувшись, протянула ребятам горсть крупных желудей.

— На что они нам? — отказался Васька. — Вы сами играйте. Мы уже большие, и это нам не игра.

— Очень хорошая игра, — ответила Машка. И, очевидно никак не понимая, почему для Васьки жёлудь — это не игра, радостно рассмеялась.

— Ну что, у вас бабка ругается? — спросил Васька и с неожиданной жестокостью добавил: — Так вам и надо. Потому что отец у вас — жулик.

— Васька, не надо! — вступился Петька. — Ведь они маленькие.

— Ну и что же, что маленькие? — с каким-то необъяснимым злорадством продолжал Васька. — Раз жулик, значит, жулик. Верно ведь, Пашка, у вас отец — жулик?

— Васька, не надо! — почти умоляюще попросил Петька.

Немного испуганные резким Васькиным тоном, Пашка и Машка молча переглянулись.

— Жулик, — тихо и покорно согласился Пашка.

— Жулик, — повторила Машка и тепло улыбнулась. — Только он хороший был жулик. Бабка нехорошая, недобрая, а он хороший… А потом… — Тут голос её чуть-чуть задрожал, она вздохнула, большие голубые глаза её стали влажными и

печальными, а маленькие ручонки разжались, и два крупных жёлудя тихо упали на мягкую траву. — А потом взял он, наш папочка, да куда-то далеко-далеко от нас уехал.

Какой-то вскрик, странный, приглушённый, раздался позади Васьки.

Он обернулся и увидел, что, крепко втиснув голову в сочную, душистую траву, вздрагивая угловатыми, худыми плечами, Петька безудержно, беззвучно… плачет.

13

Дальние страны, те, о которых так часто мечтали ребятишки, туже и туже смыкая кольцо, надвигались на безымянный разъезд № 216.

Дальние страны с большими вокзалами, с огромными заводами, с высокими зданиями были теперь где-то уже не очень далеко.

Ещё так же, как и прежде, проносился мимо безудержный скорый, но уже останавливались пассажирский сорок второй и почтовый двадцать четвёртый.

Ещё пусто и голо было на изрытой ямами заводской площадке, но уже копошились на ней сотни рабочих, уже ползала по ней, вгрызаясь в землю и лязгая железной пастью, похожая на приручённое чудовище диковинная машина — экскаватор.

Опять прилетел для фотосъёмки аэроплан. Что ни день, то вырастали новые бараки, склады, подсобные мастерские. Приехали кинопередвижка, вагон-баня, вагон-библиотека.

Заговорили рупоры радиоустановок, и наконец с винтовками за плечами пришли часовые Крас-

ной Армии и молча стали на свои посты.

По пути к Ивану Михайловичу Васька остановился там, где ещё совсем недавно стояла их старая будка.

Угадывая её место только по уцелевшим столбам шлагбаума, он подошёл поближе и, глядя на рельсы, подумал о том, что вот эта блестящая рельсина пройдёт теперь как раз через тот угол, где стояла их печка, на которой они так часто грелись с рыжим котом Иваном Ивановичем, и что если бы его кровать поставить на прежнее место, она встала бы как раз на самую крестовину, прямо поперёк железнодорожного полотна.

Он огляделся. По их огороду, подталкивая товарные вагоны, с пыхтеньем ползал старый маневровый паровоз.

От грядок с хрупкими огурцами не осталось и следа, но неприхотливая картошка через песок насыпей и даже через колкий щебень кое-где упрямо пробивалась кверху кустиками пыльной, сочной зелени.

Он пошёл дальше, припоминая прошлое лето, когда в эти утренние часы было пусто и тихо. Изредка только загогочут гуси, звякнет жестяным колокольцем привязанная к колу коза да загремит вёдрами у скрипучего колодца вышедшая за

водой баба. А сейчас…

Глухо бабахали тяжёлые кувалды, вколачивая огромные брёвна в берега Тихой речки. Гремели разгружаемые рельсы, звенели молотки в слесарной мастерской, и пулемётной дробью трещали неумолчные камнедробилки.

Васька пролез под вагонами и лицом к лицу столкнулся с Серёжкой.

В запачканных клеем руках Серёжка держал коловорот и, наклонившись, разыскивал что-то в траве, пересыпанной коричневым промасленным песком.

Он искал, по-видимому, уже давно, потому что лицо у него было озабоченное и расстроенное.

Васька посмотрел на траву и нечаянно увидал то, что потерял Серёжка. Это была металлическая пёрка, которую вставляют в коловорот, чтобы провёртывать дырки.

Серёжка не мог её видеть, так как она лежала за шпалой с Васькиной стороны.

Серёжка взглянул на Ваську и опять наклонился, продолжая поиски.

Если бы во взгляде Серёжки Васька уловил что-либо вызывающее, враждебное или чуточку насмешливое, он прошёл бы своей дорогой, предоставив Серёжке заниматься поисками хоть

до ночи. Но ничего такого на лице Серёжки он не увидал. Это было обыкновенное лицо человека, озабоченного потерей нужного для работы инструмента и огорчённого безуспешностью своих поисков. — Ты не там ищешь, — невольно сорвалось у Васьки. — Ты в песке ищешь, а она лежит за шпалой.

Он поднял пёрку и подал её Серёжке.

— И как она залетела туда? — удивился Серёжка. — Я бежал, а она выскочила и вот куда залетела.

Они уже готовы были заулыбаться и вступить в переговоры, но, вспомнив о том, что между ними старая, не прекращающаяся вражда, оба мальчугана нахмурились и внимательно оглядели один другого.

Серёжка был немного постарше, повыше и потоньше. У него были рыжие волосы, серые озорные глаза, и весь он был какой-то гибкий, изворотливый и опасный.

Васька был шире, крепче и, возможно, даже сильнее. Он стоял, чуть склонив голову, одинаково готовый и к тому, чтобы разойтись с миром, и к тому, чтобы подраться, хотя он и знал, что в случае драки попадёт всё-таки больше ему, а не его противнику.

— Эй, ребята! — окликнул их с платформы человек, в котором они узнали главного мастера из механической мастерской. — Пойдите-ка сюда. Помогите немного.

Теперь, когда выбора уже не оставалось и затеять драку означало отказать в той помощи, о которой просил мастер, ребята разжали кулаки и быстро полезли на открытую грузовую платформу.

Там валялись два ящика, разбитые неудачно упавшей железной балкой.

Из ящиков по платформе, как горох из мешка, рассыпались и раскатились маленькие и большие, короткие и длинные, узкие и толстые железные гайки.

Ребятам дали шесть мешков — по три на каждого — и попросили их разобрать гайки по сортам. В один мешок гайки механические, в другой — газовые, в третий — метровые.

И они принялись за работу с той поспешностью, которая доказывала, что, несмотря на несостоявшуюся драку, дух соревнования и желания каждого быть во всём первым нисколько не угас, а только принял иное выражение.

Пока они были заняты работой, платформу толкали, перегоняли с пути на путь, отцепляли и

куда-то опять прицепляли.

Всё это было очень весело, особенно когда сцепщик Семён, предполагая, что ребята забрались на маневрирующий состав из баловства, хотел огреть их хворостиной, но, разглядев, что они заняты работой, ругаясь и чертыхаясь, соскочил с подножки платформы.

Когда они окончили разборку и доложили об этом мастеру, мастер решил, что, вероятно, ребята свалили все гайки без разбора в одну кучу, потому что окончили они очень уж скоро. Но он не знал, что они старались и потому, что гордились порученной им работой, и потому, что не хотели отставать один от другого.

Мастер был очень удивлён, когда, раскрыв принесённые грузчиком мешки, увидел, что гайки тщательно рассортированы так, как ему было надо.

Он похвалил их, позволил им приходить в мастерские и помогать в чём-нибудь, что сумеют или чему научатся.

Довольные, они шли домой уже как хорошие, давнишние, но знающие каждый себе цену друзья. И только на одну минутку вспыхнувшая искорка вражды готова была разгореться вновь. Это тогда, когда Васька спросил у Серёжки, брал

он компас или не брал.

Глаза Серёжки стали злыми, пальцы рук сжались, но рот улыбался.

— Компас? — спросил он с плохо скрываемой озлобленностью, оставшейся от памятной порки. — Вам лучше знать, где компас. Вы бы его у себя поискали…

Он хотел ещё что-то добавить, но, пересиливая себя, замолчал и насупился.

Так они прошли несколько шагов.

— Ты, может быть, скажешь, что и нырётку нашу не брал? — недоверчиво спросил Васька, искоса поглядывая на Серёжку.

— Не брал, — отказался Серёжка, но теперь лицо его приняло обычное хитровато-насмешливое выражение.

— Как же не брал? — возмутился Васька. — Мы шарили, шарили по дну, а её нет и нет. Куда же она девалась?

— Значит, плохо шарили. А вы пошарьте получше. — Серёжка рассмеялся и, глядя на Ваську с каким-то странным и сбивавшим с толку добродушием, добавил: — У них там рыбы, поди-ка, набралось прорва, а они сидят себе да охают!

На другой же день, ещё спозаранку, захватив «кошку», Васька направился к реке, без особой,

впрочем, веры в Серёжкины слова.

Три раза закидывал он «кошку», и всё впустую. Но на четвёртом разе бечёвка туго натянулась.

«Неужели правда он не брал? — подумал Васька, быстро подтягивая добычу. — Ну, конечно, не брал… Вот, вот она… А мы-то… Эх, дураки!»

Тяжёлая плетёная нырётка показалась над водой. Внутри неё что-то ворочалось и плескалось, вызывая в Васькином воображении самые радужные надежды. Но вот, вся в песке и в наплывах холодной тины, она шлёпнулась на берег, и Васька кинулся разглядывать богатую добычу.

Изумление и разочарование овладели им, когда, раскрыв плетёную дверцу, он вытряхнул на землю около двух десятков дохлых лягушек.

«И откуда они, проклятые, понабились? — удивился Васька. — Ну, бывало, случайно одна заберётся, редко-редко две. А тут, гляди-ка, ни одного ёршика, ни одной малюсенькой плотички, а, точно на смех, целый табун лягушек».

Он закинул нырётку обратно и пошёл домой, сильно подозревая, что компас-то, может быть, Серёжка и не брал, но что нырётка, набитая лягушками, оказалась на прежнем месте не раньше, как только вчера вечером.

Васька бежал со склада и тащил в мастерскую

моток проволоки. Из окошка высунулась мать и позвала его, но Васька торопился; он замотал головой и прибавил шагу.

Мать закричала на него ещё громче, перечисляя все те беды, которые должны будут свалиться на Васькину голову в том случае, если он сию же минуту не пойдёт домой. И хотя, если верить её словам, последствия его неповиновения должны были быть очень неприятными, так как до Васькиного слуха долетели такие слова, как «выдеру», «высеку», «нарву уши» и так далее, но дело всё в том, что Васька не очень-то верил в злопамятность матери и, кроме того, ему на самом деле было некогда. И он хотел продолжать свой путь, но тут мать начала звать его уже ласковыми словами, одновременно размахивая какой-то белой бумажкой.

У Васьки были хорошие глаза, и он тотчас же разглядел, что бумажка эта не что иное, как только что полученное письмо. Письмо же могло быть только от брата Павла, который работал слесарем где-то очень далеко. А Васька очень любил Павла и с нетерпением ожидал его приезда в отпуск.

Это меняло дело. Заинтересованный, Васька повесил моток проволоки на забор и направился к дому, придав лицу то скорбное выражение,

которое заставило бы мать почувствовать, что он через силу оказывает ей очень большую услугу.

— Прочитай, Васька, — просила обозлённая мать очень кротким и миролюбивым голосом, так как знала, что если Васька действительно заупрямится, то от него никакими угрозами ничего не добьёшься.

— Тут человек делом занят, а она… прочитай да прочитай! — недовольным тоном ответил Васька, беря письмо и неторопливо распечатывая конверт. — Прочитала бы сама. А то когда я к Ивану Михайловичу учиться бегал, то она: куда шляешься да куда шляешься? А теперь… почитай да почитай.

— Разве же я, Васенька, за уроки ругалась? — виновато оправдывалась мать. — Я за то ругалась, что уйдёшь ты на урок чистый, а вернёшься, как чёрт, весь измазанный, избрызганный… Да читай же ты, идол! — нетерпеливо крикнула она наконец, видя, что, развернув письмо, Васька положил его на стол, потом взял ковш и пошёл напиться и только после этого крепко и удобно уселся за стол, как будто бы собирался засесть до самого вечера.

— Сейчас прочитаю, отойди-ка немного от света, а то застишь.

Брат Павел узнал о том, что на их разъезде строится завод и что там нужны слесаря.

Постройка, на которой он работал, закончилась, и он писал, что решил приехать на родину. Он просил, чтобы мать сходила к соседке Дарье Егоровне и спросила, не сдаст ли та ему с женою хотя бы на лето одну комнату, потому что к зиме у завода, надо думать, будут уже свои квартиры. Это письмо обрадовало и Ваську и мать. Она всегда мечтала, как хорошо было бы жить всей семьёю вместе. Но раньше, когда на разъезде не было никакой работы, об этом нечего было и думать.

Кроме того, брат Павел совсем ещё недавно женился, и всем очень хотелось посмотреть, какая у него жена.

Ни о какой Дарье Егоровне мать не захотела и слышать.

— Ещё что! — говорила она, заграбастывая у Васьки письмо и с волнением вглядываясь в непонятные, но дорогие для неё чёрточки и точки букв. — Или мы сами хуже Дарьи Егоровны?... У нас теперь не прежняя конура, а две комнаты, да передняя, да кухня. В одной сами будем жить, другую Павлушке отдадим. На что нам другая?

Гордая за сына и счастливая, что скоро увидит

его, она совсем позабыла, что ещё недавно она жалела старую будку, ругала новый дом, а заодно и всех тех, кто это выдумал — ломать, перестраивать и заново строить.

14

С Петькой за последнее время дружба порвалась. Петька стал какой-то не такой, дикий.

То всё ничего — играет, разговаривает, то вдруг нахмурится, замолчит и целый день не показывается, а всё возится дома во дворе с Еленкой.

Как-то, возвращаясь из столярной мастерской, где они с Серёжкой насаживали молотки на рукоятки, перед обедом Васька решил искупаться.

Он свернул к тропке и увидел Петьку. Петька шёл впереди, часто останавливаясь и оборачиваясь, как будто бы боялся, что его увидят.

И Васька решил выследить, куда пробирается украдкой этот шальной и странный человек.

Дул крепкий, жаркий ветер. Лес шумел. Но, опасаясь хруста своих шагов, Васька свернул с тропки и пошёл кустами чуть-чуть позади.

Петька пробирался неровно: то, как будто бы набравшись решимости, пускался бежать и бежал быстро и долго, так что Васька, которому приходилось огибать кусты и деревья, еле-еле поспевал за ним, то останавливался, начинал тревожно оглядываться, а потом шёл тихо, почти

через силу, точно сзади его кто-то подгонял, а он не мог и не хотел идти.

«И куда это он пробирается?» — думал Васька, которому начинало передаваться Петькино возбуждённое состояние.

Внезапно Петька остановился. Он стоял долго; на глазах его заблистали слёзы. Потом он понуро опустил голову и тихо пошёл назад. Но, пройдя всего несколько шагов, он опять остановился, тряхнул головой и, круто свернув в лес, помчался прямо на Ваську.

Испуганный и не ожидавший этого, Васька отскочил за кусты, но было уже поздно. Не разглядев Ваську, Петька всё же услыхал треск раздвигаемых кустов. Он вскрикнул и шарахнулся в сторону тропки.

Когда Васька выбрался на тропу, на ней никого уже не было.

Несмотря на то что недалёк был уже вечер, несмотря на порывистый ветер, было душно.

По небу плыли тяжёлые облака, но, не сбиваясь в грозовую тучу, они проносились поодиночке, не закрывая и не задевая солнца.

Тревога, смутная, неясная, всё крепче и крепче охватывала Ваську, и шумливый, неспокойный лес, тот самый, которого почему-то так боялся

Петька, показался вдруг и Ваське чужим и враждебным.

Он прибавил шагу и вскоре очутился на берегу Тихой речки.

Среди распустившихся ракитовых кустов распластался рыжий кусок гладкого песчаного берега. Раньше Васька всегда здесь купался. Вода здесь была спокойная, дно твёрдое и ровное.

Но сейчас, подойдя поближе, он увидел, что вода поднялась и помутнела.

Кусочки свежей щепы, осколки досок, обломки палок плыли неспокойно, сталкивались, расходясь и бесшумно поворачиваясь вокруг острых опасных воронок, которые то возникали, то исчезали на пенистой поверхности.

Очевидно, внизу, на постройке плотины, начали ставить перемычки.

Он разделся, но не бултыхнулся, как бывало раньше, и не забарахтался, весёлыми брызгами распугивая серебристые стайки стремительных пескарей.

Осторожно опустившись у самого берега, ощупывая ногою теперь уже незнакомое дно и придерживаясь руками за ветви куста, он окунулся несколько раз, вылез из воды и тихонько пошёл домой.

Дома он был скучен. Плохо ел, пролил нечаянно ковш с водою и из-за стола встал молчаливый и сердитый.

Он пошёл к Серёжке, но Серёжка был и сам злой, потому что порезал стамеской палец и ему только что смазали его йодом.

Васька пошёл к Ивану Михайловичу, но не застал его дома; тогда он вернулся домой и решил спозаранку лечь спать.

Он лёг, но не заснул. Он вспомнил прошлогоднее лето. И, вероятно, оттого, что день сегодня был такой неспокойный, неудачливый, прошлое лето показалось ему теплым и хорошим.

Неожиданно ему стало жалко и ту поляну, которую разрыл и разворотил экскаватор; и Тихую речку, вода в которой была такая светлая и чистая; и Петьку, с которым так хорошо и дружно проводили они свои весёлые, озорные дни; и даже прожорливого рыжего кота Ивана Ивановича, который, с тех пор как сломали их старую будку, что-то запечалился, заскучал и ушёл с разъезда неизвестно куда. Так же неизвестно куда улетела вспугнутая ударами тяжёлых кувалд та постоянная кукушка, под звонкое и грустное кукованье которой засыпал Васька на сеновале и видел любимые, знакомые сны.

Тогда он вздохнул, закрыл глаза и стал потихоньку засыпать.

Сон приходил новый, незнакомый. Сначала между мутных облаков проплыл тяжёлый и сам похожий на облако острозубый золотистый карась. Он плыл прямо к Васькиной нырётке, но нырётка была такая маленькая, а карась такой большой, и Васька в испуге закричал: «Мальчишки!... Мальчишки!... Тащите скорее большую сеть, а то он порвёт нырётку и уйдёт». — «Хорошо, — сказали мальчишки, — мы сейчас притащим, но только раньше мы позвоним в большие колокола».

И они стали звонить: дон!., дон!., дон!., дон!... И пока они громко звонили, за лесом над Алёшином поднялся столб огня и дыма. А все люди заговорили и закричали:

— Пожар! Это пожар... Это очень сильный пожар. Тогда мать сказала Ваське:

— Вставай, Васька!

И так как голос матери прозвучал что-то очень громко и даже сердито, Васька догадался, что это, пожалуй, уже не сон, а на самом деле.

Он открыл глаза. Было темно. Откуда-то издалека доносился звон набатного колокола.

— Вставай, Васька, — повторила мать. — Залезь

на чердак и посмотри. Кажется, Алёшино горит.

Васька быстро натянул штаны и по крутой лесенке взобрался на чердак.

Неловко цепляясь впотьмах за выступы балок, он добрался до слухового окошка и высунулся до пояса.

Стояла чёрная, звёздная ночь. Возле заводской площадки, возле складов тускло мерцали огни ночных фонарей, вправо и влево ярко горели красные сигналы входного и выходного семафоров. Впереди слабо отсвечивала вода Тихой речки.

Но там, в темноте, за речкой, за невидимо шумевшим лесом, там, где находилось Алёшино, не было ни разгорающегося пламени, ни летающих по ветру искр, ни потухающего дымного зарева. Там лежала тяжёлая полоса густой, непроницаемой темноты, из которой доносились глухие набатные удары церковного колокола.

15

Стог свежего, душистого сена. С теневой стороны, укрывшись так, чтобы его не было видно с тропки, лежал уставший Петька.

Он лежал тихо, так что одинокая ворона, большая и осторожная, не заметив его, тяжело села на шест, торчавший над стогом.

Она сидела на виду, спокойно поправляя клювом крепкие блестящие перья.

И Петька невольно подумал, как легко было бы всадить в неё отсюда полный заряд дроби. Но эта случайная мысль вызвала другую, ту, которой он не хотел и боялся. И он опустил лицо на ладони рук.

Чёрная ворона насторожённо повернула голову и заглянула вниз. Неторопливо расправив крылья, она перелетела с шеста на высокую берёзу и с любопытством уставилась оттуда на одинокого плачущего мальчугана.

Петька поднял голову. По дороге из Алёшина шёл дядя Серафим и вёл на поводу лошадь: должно быть, перековывать. Потом он увидел Ваську, который возвращался по тропке домой.

И тогда Петька притих, подавленный неожиданной догадкой: это на Ваську натолкнулся он в кустах, когда хотел свернуть с тропки в лес. Значит, Васька уже что-то знает или чём-то догадывается, иначе зачем же он стал бы его выслеживать? Значит, скрывай не скрывай, а всё равно всё откроется.

Но, вместо того чтобы позвать Ваську и всё рассказать ему, Петька насухо вытер глаза и твёрдо решил никому не говорить ни слова. Пусть открывают сами, пусть узнают и пусть делают с ним всё, что хотят.

С этой мыслью он встал, и ему стало спокойнее и легче. С тихой ненавистью посмотрел он туда, где шумел алёшинский лес, ожесточённо плюнул и выругался.

— Петька! — услышал он позади себя окрик.

Он съёжился, обернулся и увидел Ивана Михайловича.

— Тебя поколотил кто-нибудь? — спросил старик. — Нет… Ну, кто-нибудь обидел? Тоже нет… Так отчего же у тебя глаза злые и мокрые?

— Скучно, — резко ответил Петька и отвернулся.

— Как это так — скучно? То всё было весело, а то вдруг стало скучно. Посмотри на Ваську, на

Серёжку, на других ребят. Всегда они чем-нибудь заняты, всегда они вместе. А ты всё один да один. Поневоле будет скучно. Ты хоть бы ко мне прибегал. Вот в среду мы с одним человеком перепелов ловить поедем. Хочешь, мы тебя с собой возьмём?

Иван Михайлович похлопал Петьку по плечу и спросил, незаметно оглядывая сверху Петькино похудевшее и осунувшееся лицо:

— Ты, может быть, нездоров? У тебя, может быть, болит что-нибудь? А ребята не понимают этого да всё жалуются мне: «Вот Петька такой хмурый да скучный!...»

— У меня зуб болит, — охотно согласился Петька — А разве же они понимают? Они, Иван Михайлович, ничего не понимают. Тут и так болит, а они — почему да почему.

— Выдрать надо! — сказал Иван Михайлович. — На обратном пути зайдём к фельдшеру, я его попрошу, он разом тебе зуб выдернет.

— У меня... Иван Михайлович, он уже не очень болит, это вчера очень, а сегодня уже проходит, — немного помолчав, объяснил Петька. — У меня сегодня не зуб, а голова болит.

— Ну, вот видишь! Поневоле заскучаешь. Зайдём к фельдшеру, он какую-нибудь микстуру даст

или порошки.

— У меня сегодня здорово голова болела, — осторожно подыскивая слова, продолжал Петька, которому вовсе уж не хотелось, чтобы в довершение ко всем несчастьям у него вырывали здоровые зубы и пичкали его кислыми микстурами и горькими порошками. — Ну так болела!... Так болела!... Хорошо только, что теперь уже прошла.

— Вот видишь, и зубы не болят, и голова прошла. Совсем хорошо, — ответил Иван Михайлович, тихонько посмеиваясь сквозь седые пожелтевшие усы.

«Хорошо! — вздохнул про себя Петька. — Хорошо, да не очень».

Они прошлись вдоль тропки и сели отдохнуть на толстое почерневшее бревно.

Иван Михайлович достал кисет с табаком, а Петька молча сидел рядом.

Вдруг Иван Михайлович почувствовал, что Петька быстро подвинулся к нему и крепко ухватил его за пустой рукав.

— Ты что? — спросил старик, увидав, как побелело лицо и задрожали губы у мальчугана.

Петька молчал.

Кто-то, приближаясь неровными, грузными

шагами, пел песню.

Это была странная, тяжёлая и бессмысленная песня. Низкий пьяный голос мрачно выводил:

Иэ-эха! И ехал, эх-ха-ха…

Вот да так ехал, аха-ха…

И приехал… Эх-ха-ха…

Эха-ха! Д-ыаха-ха…

Это была та самая нехорошая песня, которую слышал Петька в тот вечер, когда заблудился на пути к Синему озеру. И, крепко вцепившись в обшлаг рукава, он со страхом уставился в кусты.

Задевая за ветви, сильно пошатываясь, из-за поворота вышел Ермолай. Он остановился, покачал всклокоченной головой, для чего-то погрозил пальцем и молча двинулся дальше.

— Эк нализался! — сказал Иван Михайлович, сердитый за то, что Ермолай так напугал Петьку. — А ты, Петька, чего? Ну пьяный и пьяный. Мало ли у нас таких шатается.

Петька молчал.

Брови его сдвинулись, глаза заблестели, а вздрагивающие губы крепко сжались. И неожиданно резкая, злая улыбка легла на его лицо. Как будто бы, только сейчас поняв что-то нужное и важное, он принял решение твёрдое и бесповоротное.

— Иван Михайлович, — звонко сказал он, заглядывая старику прямо в глаза, — а ведь это Ермолай убил Егора Михайловича…

К ночи по большой дороге верхом на неосёдланном коне с тревожной вестью скакал дядя Серафим с разъезда в Алёшино. Заскочив на уличку, он стукнул кнутовищем в окно крайней избы и, крикнув молодому Игошкину, чтобы тот скорей бежал к председателю, поскакал дальше, часто сдерживая коня у чужих тёмных окон и вызывая своих товарищей.

Он громко застучал в ворота председательского дома. Не дожидаясь, пока отопрут, он перемахнул через плетень, отодвинул запор, ввёл коня и сам ввалился в избу, где уже заворочались, зажигая огонь, встревоженные стуком люди.

— Что ты? — спросил его председатель, удивлённый таким стремительным напором обыкновенно спокойного дяди Серафима.

— А то, — сказал дядя Серафим, бросая на стол смятую клетчатую фуражку, продырявленную дробью и запачканную тёмными пятнами засохшей крови, — а то, чтобы вы все подохли! Ведь Егор-то никуда и не убегал, а его в нашем лесу убили.

Изба наполнилась народом. От одного к дру-

гому передавалась весть о том, что Егора убили тогда, когда, отправляясь из Алёшина в город, он шёл по лесной тропе на разъезд, чтобы повидать своего друга Ивана Михайловича.

— Его убил Ермолай и в кустах обронил с убитого кепку, а потом всё ходил по лесу, искал её, да не мог найти. А натолкнулся на кепку машинистов мальчишка Петька, который заплутался и забрёл в ту сторону.

И тогда точно яркая вспышка света блеснула перед собравшимися мужиками. И тогда многое вдруг стало ясным и понятным. И непонятным было только одно: как и откуда могло возникнуть предположение, что Егор Михайлов — этот лучший и надёжный товарищ — позорно скрылся, захватив казённые деньги?

Но тотчас же, объясняя это, из толпы от дверей послышался надорванный, болезненный выкрик хромого Сидора, того самого, который всегда отворачивался и уходил, когда с ним начинали говорить о побеге Егора.

— Что Ермолай! — кричал он. — Чьё ружьё? Всё подстроено. Им мало смерти было… Им позор подавай… Деньги везёт… Бабах его! А потом — убежал… Вор! Мужики взъярятся: где деньги? Был колхоз — не будет… Заберём луг назад… Что

Ермолай! Всё… всё подстроено!

И тогда заговорили ещё резче и громче. В избе становилось тесно. Через распахнутые окна и двери злоба и ярость вырывались на улицу.

— Это Данилино дело! — крикнул кто-то.

— Это ихнее дело! — раздались кругом разгневанные голоса.

И вдруг церковный колокол ударил набатом, и его густые дребезжащие звуки загремели ненавистью и болью.

Это обезумевший от злобы, к которой примешивалась радость за своего не убежавшего, а убитого Егора, хромой Сидор, самовольно забравшись на колокольню, в яростном упоении бил в набат.

— Пусть бьёт. Не трогайте! — крикнул дядя Серафим. — Пусть всех поднимает. Давно пора!

Вспыхивали огни, распахивались окна, хлопали калитки, и все бежали к площади — узнать, что случилось, какая беда, почему шум, крики, набат.

А в это время Петька впервые за многие дни спал крепким и спокойным сном. Всё тяжёлое, так неожиданно и крепко сдавившее его, было свалено, сброшено. Он много перемучился. Такой же мальчуган как и многие другие, немножко храбрый, немножко робкий, иногда искренний,

иногда и скрытный и хитроватый, он из-за страха за свою небольшую беду долго скрывал большое дело.

Он увидал валяющуюся кепку в тот самый момент, когда, испугавшись пьяной песни, хотел бежать домой. Он положил свою фуражку с компасом на траву, поднял кепку и узнал её: это была клетчатая кепка Егора, вся продырявленная и запачканная засохшей кровью.

Он задрожал, выронил кепку и пустился наутёк, позабыл о своей фуражке и о компасе.

Много раз пытался он пробраться в лес, забрать фуражку и утопить проклятый компас в реке или в болоте, а потом рассказать о находке, но каждый раз необъяснимый страх овладевал мальчуганом, и он возвращался домой с пустыми руками.

А сказать так, пока его фуражка с украденным компасом лежала рядом с простреленной кепкой, у него не хватало мужества. Из-за этого злосчастного компаса уже был поколочен Серёжка, был обманут Васька и он сам, Петька, сколько раз ругал при ребятах непойманного вора. И вдруг оказалось бы, что вор — он сам. Стыдно! Подумать даже страшно! Не говоря уже о том, что и от Серёжки была бы взбучка и от отца тоже крепко попало бы. И он осунулся, замолчал и притих, всё

скрывая и утаивая. И только вчера вечером, когда он по песне узнал Ермолая и угадал, что ищет Ермолай в лесу, он рассказал Ивану Михайловичу всю правду, ничего не скрывая с самого начала.

16

Через два дня на постройке завода был праздник. Ещё с раннего утра приехали музыканты, немного позже должны были прибыть делегация от заводов из города, пионерский отряд и докладчики.

В этот день производилась торжественная закладка главного корпуса.

Всё это обещало быть очень интересным, но в этот же день в Алёшине хоронили убитого председателя Егора Михайловича, чьё закиданное ветвями тело разыскали на дне глубокого, тёмного оврага в лесу. И ребята колебались и не знали, куда им идти.

— Лучше в Алёшино, — предложил Васька. — Завод ещё только начинается. Он всегда тут будет, а Егора уже не будет никогда.

— Вы с Петькой бегите в Алёшино, — предложил Серёжка, — а я останусь здесь. Потом вы мне расскажете, а я вам расскажу.

— Ладно, — согласился Васька. — Мы, может быть, ещё и сами к концу поспеем… Петька, нагайки в руки! Гайда на коней и поскачем.

После жарких, сухих ветров ночью прошёл дождик. Утро разгоралось ясное и прохладное.

То ли оттого, что было много солнца и в его лучах бодро трепыхались упругие новые флаги, то ли оттого, что нестройно гудели на лугу сыгрывающиеся музыканты и к заводской площадке тянулись отовсюду люди, было как-то по-необыкновенному весело. Не так весело, когда хочется баловать, прыгать, смеяться, а так, как бывает перед отправлением в далёкий, долгий путь, когда немножко жалко того, что остаётся позади, и глубоко волнует и радует то новое и необычное, что должно встретиться в конце намеченного пути.

В этот день хоронили Егора. В этот день закладывали главный корпус алюминиевого завода. И в этот же день разъезд № 216 переименовывался в станцию «Крылья самолёта».

Ребятишки дружной рысцой бежали по тропке. Возле мостика они остановились. Тропка здесь была узкая, по сторонам лежало болотце. Навстречу шли люди. Четыре милиционера с наганами в руках — два сзади, два спереди — вели троих арестованных. Это были Ермолай, Данила Егорович и Петунин. Не было только весёлого кулака Загребина, который ещё в ту ночь, когда загудел набат, раньше других разузнал, в чём дело, и,

бросив хозяйство, скрылся неизвестно куда.

Завидя эту процессию, ребятишки попятились к самому краю тропки и молча остановились, пропуская арестованных.

— Ты не бойся, Петька! — шепнул Васька, заметив, как побледнело лицо его товарища.

— Я не боюсь, — ответил Петька. — Ты думаешь, я молчал оттого, что их боялся? — добавил Петька, когда арестованные прошли мимо. — Это я вас, дураков, боялся.

И хотя Петька и выругался и за такие обидные слова следовало бы дать ему тычка, но он так прямо и так добродушно посмотрел на Ваську, что Васька улыбнулся и сам скомандовал:

— В галоп!

Хоронили Егора Михайловича не на кладбище, хоронили его за деревней, на высоком, крутом берегу Тихой речки.

Отсюда видны были и привольные, наливающиеся рожью поля, и широкий Забелин луг с речкой, тот самый, около которого разгорелась такая ожесточённая борьба.

Хоронили его всей деревней. Пришла с постройки рабочая делегация. Приехал из города докладчик.

Из поповского сада вырыли бабы ещё с вече-

ра самый большой, самый раскидистый куст махрового шиповника, такого, что горит весною ярко-алыми бесчисленными лепестками, и посадили его у изголовья, возле глубокой сырой ямы.

— Пусть цветёт.

Набрали ребята полевых цветов и тяжёлые простые венки положили на крышку сырого соснового гроба. Тогда подняли гроб и понесли.

Старик Иван Михайлович, бывший машинист бронированного поезда, который пришёл на похороны ещё с вечера, провожал в последний путь своего молодого кочегара.

Шаг у старика был тяжёлый, а глаза влажные и строгие.

Забравшись на бугор повыше, Петька и Васька стояли у могилы и слушали.

Говорил незнакомый из города. И хотя он был незнакомый, но он говорил так, как будто бы давно и хорошо знал убитого Егора и алёшинских мужиков, их заботы, сомнения и думы.

Он говорил о пятилетнем плане, о машинах, о тысячах и десятках тысяч тракторов, которые выходят и должны будут выйти на бескрайные колхозные поля.

И все его слушали.

И Васька с Петькой слушали тоже.

Но он говорил о том, что так просто, без тяжёлых, настойчивых усилий, без упорной, непримиримой борьбы, в которой могут быть и отдельные поражения и жертвы, новую жизнь не создашь и не построишь.

И над ещё не засыпанной могилой погибшего Егора все верили ему, что без борьбы, без жертв не построишь.

И Васька с Петькой верили тоже.

И хотя здесь, в Алёшине, были похороны, но голос докладчика звучал бодро и твёрдо, когда он говорил о том, что сегодня праздник, потому что рядом закладывается корпус нового гигантского завода.

Но хотя на постройке был праздник, тот, другой оратор, которого слушал с крыши барака оставшийся на разъезде Серёжка, говорил о том, что праздник праздником, но что борьба повсюду проходит, не прерываясь, и сквозь будни и сквозь праздники.

И при упоминании об убитом председателе соседнего колхоза все встали, сняли шапки, а музыка на празднике заиграла траурный марш.

Так говорили и там, так говорили и здесь потому, что и заводы и колхозы — всё это части одного целого.

И потому, что незнакомый докладчик из города говорил так, как будто бы он давно и хорошо знал, о чём здесь все думали, в чём ещё сомневались и что должны были делать. Васька, который стоял на бугре и смотрел, как бурлит внизу схватываемая плотиной вода, вдруг как-то особенно остро почувствовал, что ведь и на самом деле всё — одно целое.

И разъезд № 216, который с сегодняшнего дня уже больше не разъезд, а станция «Крылья самолёта», и Алёшино, и новый завод, и эти люди, которые стоят у гроба, а вместе с ними и он и Петька — всё это частица одного огромного и сильного целого, того, что зовётся Советской страной.

И эта мысль, простая и ясная, крепко легла в его возбуждённую голову.

— Петька, — сказал он, впервые охваченный странным и непонятным волнением, — правда, Петька, если бы и нас с тобой тоже убили, или как Егора, или на войне, то пускай?... Нам не жалко!

— Не жалко! — как эхо, повторил Петька, угадывая Васькины мысли и настроение. — Только, знаешь, лучше мы будем жить долго-долго.

Когда они возвращались домой, то ещё издалека услышали музыку и дружные хоровые песни.

Праздник был в самом разгаре.

С обычным рёвом и грохотом из-за поворота вылетел скорый.

Он промчался мимо, в далёкую советскую Сибирь. И ребятишки приветливо замахали ему руками и крикнули «счастливого пути» его незнакомым пассажирам.

1932